

Тощие ветви ивы

Когда жизнь
рождалась
в аду

Мария Лебедева

2025



Мария Лебедева
Тощие ветви ивы

«Автор»

2026

Лебедева М. В.

Тощие ветви ивы / М. В. Лебедева — «Автор», 2026

1939 год. Лодзь. Станислава — акушерка, жена, мать. Её жизнь проста и хрупка: дом, дети, работа. Потом приходит война и этот мир перестаёт существовать. 1943 год. Освенцим. В месте, созданном для уничтожения, Станислава продолжает делать единственное, что умеет: принимать роды. На голых нарах, без воды и лекарств, под надзором эсэсовцев. Через её руки проходят три тысячи младенцев. Она родились живыми и здоровыми. но выжили от силы 30. 1500 утоплены в бочке. Больше 1000 умерло от голода и холода. Несколько сотен отправлены в Германию, для онемечивания. Это история целой жизни до, во время и после катастрофы. О том, как страх разъединяет людей и как простые жесты снова собирают их вместе. О добре, которое не требует слов. О памяти, которая не превращается в ненависть. О том, как даже после ада остаётся возможность быть добрым и передать это дальше. «Тощие ветви ивы» — роман о тихой, упрямой человечности. О том, что именно она, а не сила, оказывается самым надёжным способом выстоять.

© Лебедева М. В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть I. Когда мир был цел	8
Часть II. ТЕНЬ (1930-е)	34
Часть III. ВОЙНА (1939—1940)	49
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Мария Лебедева

Тощие ветви ивы

Эта книга — художественное высказывание, рождённое из реальной человеческой судьбы.

События, личности, диалоги и внутренние переживания героев плод авторского осмысления и творческого преображения. Я не реконструировала прошлое с протокольной точностью, я пыталась услышать и передать его отзвук, его сокровенный человеческий смысл, который часто ускользает из сухих архивных сводок.

Перед вами, приношение истории. Попытка понять непостижимое, прикоснуться к тому, что осталось за кадром официальных документов, к пульсации тех, кто прошёл через концлагерь.

Ива

Она не борется с ветром. Она отдаётся ему всем телом, до земли, чтобы потом, с тихим усилием, распрямиться вновь. Её сила в этой отчаянной гибкости, в упрямстве живого сока, где, казалось бы, течь уже нечему.

Эта история о той тонкой, почти невидимой грани, где кончается выживание и начинается жизнь. О тех, кто, как ива, даже в крошечной тьме продолжал тянуться к свету, потому что иначе просто не умел.

От автора

Всё началось с простой заметки, кинутой знакомой в чат. Я услышала её за чашкой утреннего кофе, и мир сдвинулся. Негромкий голос из текста рассказывал о польской акушерке, принявшей три тысячи детей в лагере Освенцим. Я не могла отделаться от ощущения, что эта история вошла внутрь и потребовала слова.

Я не была там, но читала её в потёртых формулярах библиотечных книг, где последняя дата выдачи 1941. И среди этих теней фигура Станиславы Лещинской возникла передо мной, как доказательство: одинокий огонёк человечности способен прожечь любую тьму.

Эта история о выборе, который делается в темноте барака. О любви, у которой есть руки. О памяти, которую не стереть, потому что она выжжена клеймом.

Верю: пока мы способны различать эти огоньки в прошлом, мы не забудем, что значит быть человеком.

С трепетом и ответственностью, Мария Лебедева

Станислава Лещинская

Из отчёта, 1965 год

Роды проходили на голых нарах, в ужасающей грязи, без воды. Новорождённых заворачивали в грязную бумагу.

Количество принятых мной родов превышало 3000.

Эсэсовский врач приказал мне составить отчет о смертельных исходах. Я ответила, что не имела ни одного.

Он посмотрел с недоверием и сказал, что даже клиники немецких университетов не могут похвастаться таким успехом.

Все дети родились живыми, их целью была жизнь.

Несмотря на это, пережило лагерь едва ли тридцать.

Пролог

Из пекарни через дорогу пахнет свежим хлебом. Этот запах навсегда сплетён с вонью горящей плоти.

— Запиши, мама, чтобы мы знали.

Они хотят карту местности, где я перестала быть человеком. Они даже не подозревают, что это значит снова вдохнуть дым преисподней, почувствовать холод колючей проволоки.

Каждую строчку придётся вырывать щипцами. Из молчания, что застряло в горле комом и слышать, как скрипит на ветру ржавое ограждение.

Комната плывёт. Кресло, стол, занавески, всё это мираж. Тонкая плёнка, а под ней пропасть. Настоящая реальность, шершавая древесина барачной стены. Я всегда там. Тишина в этом доме ненастоящая.

И я пишу для всех, кто в топоте деревянных колодок остался человеком.

Для тех, кто в мире, созданном для смерти, выбрал жизнь.

Кто до последнего вздоха принимал роды и делился хлебом.

Памяти тех, кто стал дымом.

Надежде тех, кто продолжил любить.

Пока бьётся сердце, мы не сломлены.

Память — это не уход в прошлое. Это единственное оружие, которое нельзя выбить из рук, когда у тебя отнимают всё.

Я рисую самую страшную карту. Ту, по которой мне снова предстоит пройти.

Часть I. Когда мир был цел

Глава 1. Запах ромашки и хлеба

Я родилась в сердцебиении Лодзи, где фабричный гудок на рассвете заглушал крик петуха, а угольная пыль оседала на корке свежего хлеба. Наш дом стоял на последней черте: за спиной каменные мостовые, впереди луга, пахнущие влажной землёй и полынью. Здесь, на краю, мир был шире. По утрам песня жаворонков была такой звонкой, что небо казалось хрустальным.

Отец возвращался из мастерской, и в дом входило его пахнущее древесиной присутствие. Он говорил со мной руками: шершавый палец, пахнущий смолой, касался щеки. Этот жест был моим первым и главным уроком любви.

Он учил меня делом: молча возвращал лишнюю сдачу, чинил забор под дождём, пока не ставил последнюю планку. Его сдавленное ругательство, если находил в курятнике клочья перьев, было единственным звуком гнева.

Мать, Хелена, была его противоположностью, она была тёплой и податливой, как тесто в её же пальцах, которые всегда пахли ромашкой и хлебом. Всё было делом этих рук: месила, шила, лечила. Стоило кому-то заболеть, как она, не говоря ни слова, наполняла корзинку и уходила. Это было так же естественно и необходимо, как затопить печь с утра.

Я следовала за ней, как тень, впитывая ритм милосердия. Видела, как она ставила кастрюлю на плиту в чужой кухне, меняла воду, вытирала лоб.

— Стася, — говорила она, кладя руку мне на плечо, — добро — это не слова. Это руки. Не бойся пачкать их. — Чужая беда, она на вес. Руками её поднять легче, чем словами.

С тех пор я думала: милосердие — это тёплые руки, кто-то встал, пошёл и сделал.

Я несла пустую корзинку, и она мерно покачивалась на сгибе руки. Годы спустя, в лагерной очереди, та же мышца у запястья напряжётся до дрожи под тяжестью жестяной миски с баландой, отмерянной на день.

Эти руки, наученные отцом держать топориче, а матью месить тесто, были частью чего-то большего. Наш квартал был живым организмом, сплетённым из сотен соседских нитей.

Франтишка, одна из тех, кто его скреплял. В её окне всегда стояла кружка с ромашками, пахло старой добротой, воском и сушёными яблоками. Её сокровищем была жестяная коробка, полная пуговиц.

Она подолгу могла их перебирать, под пальцами стекляшки и перламутр оживали, становились каждый со своей историей. Молча, она нашла железную пуговицу, вложила мне в ладонь. Её пальцы были тёплыми и чуть шершавыми.

— Стася, мир держится на мелочах, — только и говорила она. — На. Пригодится.

Я сжимала в кулаке этот кружок. И почему-то именно с ним в кармане я чувствовала себя спокойнее. Только много лет спустя, в кромешной тьме, где от человека оставался лишь номер, я нащупаю подобную на дне кармана. И эта пуговка вдруг станет единственной твёрдой точкой, той, за которую можно зацепиться, чтобы не разлететься в прах.

Даже рынок на Старом Месте был частью этого организма. Однажды там, на стене, я увидела листок с кривыми буквами: — ЧУЖАКИ... ОПАСНОСТЬ....

— Мама, что там? — Ничего, солнышко. Так, грязь. — Она отвела меня к лотку с пряниками, но даже вечно болтливый продавец на этот раз услужливо молчал, заворачивая наш пряник.

Утро начиналось задолго до рассвета. Мамины шаги по скрипучим половицам были самым родным звуком. Я лежала и прислушивалась: глухой стук сундука, шелест муки, постукивание ложки, тихое напевание. Это был ритм моего детства. Звук, из которого соткан мир.

Пахло дрожжами и закипающим молоком.

— Я первый пойду за водой! — упрямо тянул Франек. — Нет! Сегодня моя очередь! — возражал Войтек.

Мама, помешивая кашу, улыбалась в заиндевшее окно:

— Идите оба, вместе веселее и лёд с колодца сбейте.

Отец выходил последним, с потухшей трубкой. Его фигура в утреннем паре казалась частью ритуала. Иногда он бросал нам с Зоськой короткий кивок и это было благословение.

Зоська, ещё в полусне, зарывалась лицом в моё плечо:

— Заплети мне косу, Стася. Красивую, как у мамы.

Я вплетала в её волосы шёлк голубой ленточки, маминой, праздничной, пахнувшей лавандой. Пока я завязывала бант, братья уже кричали из сеней.

И вот однажды, когда я осталась допивать чай, а Зоська убежала, из сеней донёлся приглушённый голос отца:

— Опять на фабрике... урежут расценки. Говорят, берлинские банки... — Тш-ш-ш, — резко оборвала мама. — Дети.

Она произнесла это с такой резкостью, а потом быстро, слишком быстро, принялась вытирать уже сухой стол. Я впервые увидела, как её пальцы дрожат.

Я не понимала слов, но этот резкий «тш-ш-ш» уколол меня, как заноза. Он отделил наш уютный мир на кухне от другого, большого мира, полного непонятных и недобрых слов. От него пахло чужим табаком и чем-то горьким, о чём не говорили вслух.

На кухне становилось тесно, шумно и тепло. Братья, вернувшись, наперебой рассказывали, кто быстрее донёс воду. А я прижимала к груди тёплую чашку и молила Бога или судьбу, чтобы это утро не кончалось никогда.

Много лет спустя, в другом месте, я буду сжимать в окоченевших пальцах кружку с тёплым суррогатом. И шептать ту же детскую молитву: чтобы этот миг стал таким же бесконечным, как то утро, из которого был соткан мой мир.

Спустя годы, в неестественной тишине моего дома, за спиной прозвучал голос.

— Мама... расскажи.

Я обернулась, в дверях стоял Броник. Высокий, с упрямым прищуром отца, в его руках была тетрадь.

— Ты ведь всё помнишь, правда? Запиши, мама, чтобы мы знали.

Я села за стол, чистый лист слепил своей пустотой, над ним уже вставало утро. Я вздохнула, обмакнула перо и тень легла на мои ладони.

Начался долгий путь домой.

Глава 2. Завет

Наш двор был республикой с своими законами. Здесь всё было общим до первой ссоры. Мы жили в стеклянном аквариуме всеобщего внимания.

Однажды зимой мы задумали устроить настоящий ледяной спуск.

— Все на горку! — крикнул Франек, и его голос уверенно прорезал зимний воздух.

Мы, не сговариваясь, выбрали идеальное место: откос у калитки тетки Ядвиги. Её территория с этого дня общественная. Зоська беспокойно теребила край шубы, переводя взгляд с нашего горящего энтузиазмом лица на крепко запертые ворота соседки. — А если она заругает? — Ничего, — отрезал Франек, уже чертя на снегу кривой палкой трассу будущего триумфа.

— Республика выше частной собственности. Ты что, конституцию не читала?

Мы, не раздумывая, превратили её территорию в общественную площадку. К утру горка была готова.

Её крушение было стремительным. Ядвига вышла за водой, ступила на каток, взметнула руками и поехала вниз. Кричала она не столько от боли, сколько от поправленного достоинства.

Мама, как верховный судья, вынесла приговор. А наутро мы с Франеком, как два каторжника, пошли к её дому с вёдрами.

Мы носили воду и дрова, таскали уголь, и чёрная пыль въедалась в кожу. Когда Ядвига, проходя мимо, кивнула и буркнула: — Смотрите только, чтобы в следующий раз я на ваш каток не попала.

Но кроме законов чести, в нашем дворе таилась и другая правда. Она ждала своего часа, чтобы явить себя во всей жестокости.

Как-то раз отец принёс мешок стружек, золотистых завитков, пахнущих свежим деревом. Мы прыгали вокруг, но богатства хватило ненадолго. Тогда нас осенила идея: совершить набег на фабричный двор.

Забрались через дыру в заборе. Сердце колотилось, но там был рай, целые горы стружек. Мы наполнили карманы и старый мешок, чувствуя себя повелителями золотых гор.

Вдруг, окрик сторожа. Франек рванул к дыре, я за ним, роняя добычу, а Войтек... не побежал.

Я обернулась у забора. Сторож подходил к нему, а брат спокойно поднял мешок:

— Это для дома, — сказал он так буднично, будто отдавал честь невидимому знамени.

Сторож опешил, посмотрел на щуплого мальчишку и махнул рукой:

— Катись отсюда.

Вечером отец узнал о вылазке. Выслушал наш сбивчивый рассказ, высыпал стружки в угол мастерской. Посмотрел на нас и кивнул:

— Держитесь вместе, и никто вас не тронет.

Больше он ничего не сказал. Но эти слова прозвучали как военный устав.

Собрались мы как-то у старой липы, в тени которой решались все дворовые споры. Войтек пришёл, и в его позе, во взгляде было точное, обезьянье повторение манер кого-то из старших парней со двора, тех, что всегда ходили с вызывающей неспешностью, зная, что им всё позволено.

Однажды поссорились из-за тряпичной куклы: Зоська сказала, что она её, соседская Марыся уверяла, что это подарок ей.

Слёзы текли у обеих, пока я не предложила совет старших. Войтек послушал обе стороны с видом судьи, для которого все подсудимые уже виноваты. Потом сказал холодно, отчеканивая каждое слово:

— Делите пополам: голова Зоське, платье Марысе.

Он сделал это не в порыве гнева, а с обрядовой, леденящей театральностью. Уперся коленом в её тряпичную спину, взялся за голову двумя руками. Два резких движения и раздался короткий, сухой хруст каркаса, похожий на шелчок ломаемой ветки.

— Суд окончен, — бросил он.

Мы не могли пошевелиться от ужаса. Зоська держала тряпичную голову, а Марыся тельце в платье. Никто не закричал, не бросился на моего брата.

Первой, не поднимая глаз, развернулась и ушла Марыся, прижимая к груди обезглавленное тельце. За ней, всхлипывая, поплелась Зоська. Остальные, не глядя друг на друга, молча разошлись по дворам, оставив Войтека одного.

Шли годы. Мир становился больше и страшнее.

А в лагере завет отца перевернулся. Чтобы не сожрать друг друга, мы должны были держаться вместе. Там, где люди ломались и доносили за лишнюю миску баланды, этот завет перестал быть советом. Он стал выбором. Из закона улицы, законом джунглей, из стены последним щитом от самих себя. Верность друг другу была единственным, что отделяло тебя от животного, пожирающего себе подобных.

А тот, кто бежит первым, теряет тех, кто мог бы прикрыть ему спину. Как тогда, в детстве, я бросила Войтека со стружками.

Закрыла тетрадь. За окном ветер раскачивал ветви ивы, сцепившиеся так крепко, будто боялись отпустить друг друга.

Глава 3. Мера и Воля

На углу нашей улицы стояла крошечная мастерская. Мы звали его «Дядька в фартуке». Кожаный фартук сросся с ним.

Войдя внутрь, попадал в особый мир. Здесь пахло добротой. На полках, стояли стопки обуви. Башмаки, помнящие вальсы, сапоги, прошедшие километры дорог.

— Вот видишь, Стася, — говорил пан Михаль. — Люди носят на подошвах всю свою жизнь. Вся их дорога впитывается в кожу: пыль хороших путей, грязь плохих, соль слёз и песня танца. Моя работа, дать опоре второй шанс.

Он учил видеть душу в вещах. А потом я научилась видеть её в людях, даже в самых потрёпанных жизнью.

— А вы их когда-нибудь выбрасываете? — спросила я. Пан Михаль хмыкнул, достал из-под верстака нечто, напоминающее крокодила. — Видишь это? От него душа ушла, протёрлась насквозь. Вот тут, — он ткнул пальцем в дыру на подошве, такое не чинится, а всё остальное...

Он взял изящный, но разорванный женский лофер. — Всё остальное — вопрос заплатки и нитки. И людей, детка, тоже латают. Только заплатку нужно подобрать в тон душе, а нитку смочить в собственном поту, чтобы не лопнула. Иди уже, мне тут один генеральский сапог признания в любви требует.

Я уходила от него, твердо веря, что всё в этом мире можно починить. Ещё не зная, что некоторые вещи ломаются безвозвратно, одним неверным движением.

Случилось это зимой. Мама вручила мне деньги, ровно на килограмм сахара и на керосин. Ни злоты больше.

В лавке меня остановило сияние, леденцы, глянцевого и наглые. Тётка Лена уловила взгляд:

— Можно сахара поменьше взять... Мама ж не заметит.

В этот миг пол подо мной ушёл в сторону. С одной стороны, холодная правда, с другой, хитрый обман. Я кивнула, не глядя ей в глаза.

Собственными руками сдвинула гирию на весах. Полкило вместо килограмма. Звон сдачи прозвучал как приговор.

Дома я солгала впервые, слово «всё» вышло беззвучным.

Мама молча развязала кулёк, зачерпнула ложку и, глядя на меня, высыпала сахар обратно.

— Теперь здесь ровно полкило, столько, сколько ты купила.

Я смотрела на сахар и чувствовала, как горит лицо.

Наутро я положила петушка на кухонный стол, от него остался жалкий, липкий осколок. Мама взяла пустой гранёный стакан, положила в него огрызок и поставила на полку.

— Это не наказание, — сказала она. — Это мера, чтобы ты знала, сколько радости в полправды, и сколько от неё остаётся.

Тот огрызок в стакане стал моим первым уроком справедливости. Последним станет эсэсовец, бросающий в грязь хлеб. Он смотрел на нас, изможденных, выдергивавших друг у друга жизнь из-под ног, и улыбался. Он тоже преподавал урок, только в его классе за неправильный ответ платили не привкусом во рту, а пулей в затылок.

А вскоре я узнала, что мир куда больше, чем наша улица с её мастерской и лавкой.

Однажды на окраину города пришёл цыганский табор. Сперва послышался перезвон бубенцов, словно невидимая рука рассыпала по пыли горсть серебряных монет.

— Цыгане! — прошипел Янек. — Коней крадут и детей. — Ага, — фыркнул Войтек, не отрывая глаз от высокой женщины в зелёной юбке. — И волосы у них из медяков сплетены,

говорят, если вырвать, монетка в руке останется. Женщина обернулась. Увидела меня и не говоря ни слова, протянула яблоко. Рука сама потянулась. Яблоко было чужеродным, пахло дымом костров и пылью больших дорог. — Бери, малая. Мир большой и люди в нём разные, — сказала она, и её улыбка была широкой и бесстыдной, как сам этот табор. Я сжала яблоко. Дар или испытание? Я тогда не знала, что скоро научусь бояться любой протянутой руки, которая может дать хлеб или схватить за горло.

Но самый страшный урок о границах был не в сладком обмане и не в щедрости чужака. Его преподал почтовый ящик, маленькая железная пасть, проглатывающая чужие судьбы.

Как-то раз он выдал плотный конверт, перевязанный бечёвкой. Адрес, пани Саломее, тихой швее, которая носила потухшие платья.

— Откроем, — сказал Янек. — Что? — не поняла я. — Откроем, — его голос стал вкрадчивым. — Вдруг там донос. Надо проверить, мы же за порядок. Слово «донос» сладкое, как яд повисло в воздухе. Пальцы сами потянулись к шершавой бечёвке. — Сейчас или никогда! Его дыхание обожгло ухо. И тут я увидела пани Саломею, как она прижимает это письмо к груди, закрыв глаза. Как греется этим теплом из другого мира. Мой отец чинил заборы, а мама варила больным суп.

Я отшатнулась от Янека, как от раскалённого железа. — Пани Саломея! — мой голос сорвался на визг. — Вам письмо!

Она открыла дверь, взяла конверт и прижала к губам. Потом подняла на меня глаза и кивнула так, как кивают равному. И этот немой кивок значил: я доверяю тебе свою боль, а ты, уважаешь меня.

Янек фыркнул: — Дура! и ушёл. Я же осталась на площадке, слушая, как в груди выравнивается дыхание.

Дыхание выравнивается и позже, когда я, стоя на аппеле, буду видеть, как охранник подходит к женщине впереди, не задавая вопросов, крючковатым пальцем поддевает и срывает с её робы нашивку, красный треугольник поверх жёлтого. Еврейка, политическая, он не вскрывает конверт, он срывает ярлык, меняет шифр с «еврейка-полька» на «еврейка-нетрудоспособная». И коротким движением головы указывает ей направление. Туда, где уже не важно, что было в том конверте, который я когда-то не стала вскрывать.

Я смотрела на уходящую спину Янека. Его «вдруг там донос» потом превратится в «имеются данные». Он тренировался, сперва на конвертах, а потом на жизнях.

И та сцена в подъезде навсегда осталась первой метастазой. Крошечной клеткой будущей болезни, что разъела наш город.

Глава 4. День, когда город затаил дыхание

В Лодзи редко стихали все звуки, шум был лёгкими города, даже ночью её отголоски жили в стуке станков, лае собак и скрипе телег.

Но в тот день город замер.

Я выглянула во двор. Люди шли медленно, почти не разговаривая. Из-за угла, цокая сапогами, вышли двое патрульных, их скользящие взгляды медленно ощупывали фасады, заборы и лица.

Дети жались к матерям, считывая тревогу в напряжении и учащённом дыхании.

У калитки стоял отец, он просто смотрел в сторону фабрики. В её окнах не горело ни одного огня. Без привычного шума Лодзь казалась обнажённой.

Вечером я сидела с отцом на крыльце.

— Запомни, Стася. Город молчит, когда людям есть что сказать.

В этот миг двое рабочих, проходя мимо нашего забора, на секунду задержали взгляд на отце. Один из них чуть кивнул, отец в ответ медленно провёл ладонью по ступеньке, будто проверяя ее прочность. Я заметила, как дрогнула щека. Рабочие пошли дальше, а мы еще долго молча смотрели на убегающие вдаль спины.

Когда вернулись в дом, неся с собой этот тяжёлый, немой груз. Мама стояла у печи, она поправила заслонку, и в натянутой тишине кухни зазвучал её тихий голос. Она напевала старую песенку про журавля.

И случилось странное: этот простой звук очертил границы страха. Пока мама пела, казалось, хаос и чужая воля не смели переступить порог нашей кухни.

Её голос был изгородью, на один вечер.

Позже, много лет спустя, я вспомню её голос, в другом месте, там стены глушили любой звук. Колючая проволока, молчаливые приказы длилось ровно столько, сколько нужно было охраннику, чтобы перевести взгляд с одного номера на другой. В нём готовый ответ, который ты считывал по спине впереди стоящего: вправо, жизнь, влево, смерть. Мамин голос отсюда уже не долетал.

Глава 5. Заговорённый клубок

Наша дружба началась с падения в прямом смысле.

Шесть лет, пан Вальтер, его сад и яблоко на самой верхней ветке. А под веткой, рыжая девочка с таким упрямым взглядом, будто это яблоко было единственным во всём мироздании. Я подбежала, подставила спину, ветка громко хрустнула и мы полетели вниз, в колючую крапиву, уронили яблоко, но схватили друг друга за руки. В этом обжигающем падении, общем хохоте и родилась наша дружба.

Ханка жила через три забора, в домике с чуть покосившимися ставнями. Её мама творила чудеса, когда она вынимала яблочный пирог, весь квартал замирал. Запах плыл по улице и звал к столу.

Мы были неразлучны. Всё наше детство пахло пылью старого сарая и ромашками. И было одно место, дупло старой липы, где мы хранили наши тайны, веря, что они будут жить вечно. Именно там мы однажды и нашли её, маленькую катушку кружевной нити. Она лежала в траве, будто обретенная самой судьбой.

Голубая и почти невесомая.

— Смотри, — Ханка размотала несколько витков, и шелковая дорожка легла мне на ладонь. — Она такая длинная, хватит, чтобы протянуть от моего крыльца до твоего. Мама говорит, в такую нить вплетают желания.

— Главное, не порвать, а то не сбудется.

Она помолчала, глядя на блестящий шёлк, и добавила тише, но твёрдо:

— Особенно у того, кто порвёт.

В её глазах на секунду мелькнуло что-то чужое, колючее.

Мы бережно смотали нашу находку. Я спрятала катушку в шкатулку, перед тем как закрыть крышку, на мгновение приложила шёлк к щеке. Он был прохладным и гладким, казалось, сама невинность мира уместилась в этом крошечном мотке. Я верила, что эта нить будет соединять нас вечно.

Ханка всегда была рядом. Ни болезнь, ни смерть бабушки, ни дворовые задиры, ничто не мешало ей приходить с полевыми цветами и сказками. А когда слов не находилось, просто держала за руку. Иногда она просто приносила мне яблоко, обкусанное с одной стороны, чтобы я знала, сладкое.

Те годы были похожи на бесконечную ярмарку: сено, звон молота по наковальне, тёплая вода пруда, пироги у колодца. Мы мечтали: она, о вишнёвом саде и детском смехе. Я, о белом халате и стетоскопе.

— Буду ходить к тебе в гости с пирогами, — говорила она, заплетая свою огненную косу. — Даже если станешь важным доктором и забудешь моё имя.

— Не забуду, — смеялась я.

Много лет спустя я открыла старую шкатулку. Среди пожелтевших писем и засушенных цветов лежала катушка. Я взяла её в руки, и вдруг за спиной раздался голос:

— Мам, а правда, ты дружила с рыжей Ханкой?

Я обернулась. Мой сын Генрик смотрел с любопытством.

— Правда, — улыбнулась я, усаживая его рядом. — Это долгая история. Она начинается с яблока, падения в крапиву и одной волшебной нити.

И в тот миг холодный шёлк в моей ладони снова стал мостом. А на его концах стояли две девочки: одна, с украденным яблоком, не ведая о будущих падениях. Другая, с целой жизнью впереди, ещё не зная, что волшебные нити иногда рвутся в один миг. Утром на поверке цифру одного номера отделяли от цифры другого и вели в разные стороны.

Глава 6. Испытание словом

Мама повела в больницу. Внутри пахло лекарствами и страхом. Я увидела плакат: белые лёгкие и рядом, чёрные, будто их кто-то подпалил изнутри.

— Это у кого такие? — спросила я. — У тех, кто всю жизнь курит или дышит фабричной пылью, — ответила мама.

Доктор был не злым и как будто стерильным, как отполированный инструмент. Я была для него склянкой, которую нужно встряхнуть и поставить на полку.

Когда он приложил к спине стетоскоп, стальной обруч холода сомкнулся с кожей. Я вжалась в стул, чувствуя, как он мысленно раздевает меня до органов и костей.

— Всё пройдёт, — сказал он ровным голосом, глядя в рецепт.

От этой пустоты стало еще холоднее и я дала себе слово: если мои руки когда-нибудь будут прикасаться к кому-то в беде, они будут видеть, слышать и возвращать человеку его имя.

Но был и другой урок. Его мне преподала кукла в витрине. Красивая, идеальная, с фарфоровым ликом, на котором не было ни одной трещины жизни. Я подолгу стояла перед ней, и между нами возникал немой договор: я восхищаюсь, а она позволяет на себя смотреть.

Однажды я пришла, и её не было. На полке зияла пустота и я чувствовала предательство. Через несколько дней она вернулась в ярко-красном платье, алом, как свежая рана. Её переодели, кто-то, невидимый и всемогущий, решил, что голубое ей не к лицу. Её волю стёрли, как пыль с витрины, и навязали свою.

Мама, когда я пожаловалась, только усмехнулась: — У нас дома и так одна кукла есть. Живая.

Я больше не подошла к витрине вплотную, смотрела на куклу с тротуара и впервые в жизни почувствовала во рту горький привкус злости.

Но самым страшным был урок о слове. Его преподали два учителя.

Пан Пшибыльский, учитель истории, однажды остановил меня у доски. Он посмотрел так, будто видел насквозь.

— Станислава, ты хорошо пишешь, — сказал он без улыбки. — Запомни: маленькая правда, зафиксированная на бумаге, становится фактом, а факт уже не стереть. Не теряй этого дара, он обязывает.

А хромой пан Козловский, польского языка. Он принёс однажды на урок потрёпанный томик.

— Эту книгу читала мне мать. — За каждое напечатанное слово в ней могли ночью забрать в тюрьму, но она считала, что некоторые слова важнее безопасности.

Он обвёл нас взглядом.

— Слово — это поступок. Выбирая то или иное слово, ты выбираешь сторону. Молчание, это тоже выбор и за любой выбор рано или поздно спросят.

Последние слова повисли в воздухе и в этой наступившей тишине я услышала мерные, неторопливые шаги в коридоре. Они замерли прямо за дверью нашего класса. В матовом стекле оконца отобразилась смутная тень, высокая и неподвижная. Она просто ждала.

Учитель не дрогнул, не поднял глаз, но его рука, лежавшая на раскрытой книге, медленно сжалась. Мы все смотрели на этот кулак, затаив дыхание.

Тень в стекле постояла ещё мгновение, и поплыла дальше. Только тогда учитель разжал пальцы и тихо, одними губами, прошептал: — Вот так. За любой выбор.

Я выскочила из класса и, не помня себя, свернула за угол, в безлюдный коридор, прислонилась лбом к холодному стеклу. В горле стоял ком. Я сглотнула, пытаюсь протолкнуть его, но он не двигался, застревая неммым укором.

Рука сама потянулась к горлу, пальцы нащупали цепочку крестика. Я сжала его в ладони, почувствовала, как металл холодит кожу.

В тот вечер я вернулась домой, будто неся на плечах тяжёлый груз. Молча села за стол, сгорбившись, пытаюсь собрать в кучу расползающиеся мысли.

Мама что-то готовила у печи. Она посмотрела на меня, на неестественный изгиб спины. Вытерла руки, подошла сзади, положила свои тёплые ладони мне на плечи и начала разминать застывшие мышцы. Она знала по напряжению в моём теле, что случилось что-то важное и трудное. Этот массаж длился ровно столько, чтобы камень внутри начал таять, а спина сама собой выпрямилась.

Она умела лечить состояние.

Годы спустя, в лагере, когда от усталости и страха хотелось согнуться пополам, я вспоминала тяжесть её рук на плечах и выпрямлялась.

Глава 7. Праздник печений

В нашем доме зима вступала в права по особенному гулу на кухне, по волне пряного тепла, что разливалась по всем комнатам. Это означало: бабушка начинала Праздник печений.

Пекли не обычные пряники, а тёмные от мёда и специй шедевры и у каждого, своя история.

Он не был приурочен к Рождеству, был наш семейный день.

Бабушка, обычно тихая, в этот день преображалась. Становилась главным волшебником, а я, её единственной ученицей. Сперва, торжественный поход в кладовку, там пахло сушёными грибами, яблоками и старой древесиной. Бабушка снимала с полки дубовый сундучок.

— Ну, Стасечка, пора, — говорила она. И в её глазах зажигался огонёк, что был в них десятилетия назад.

В сундучке хранились деревянные формы, завернутые в льняную ткань. Каждая, произведение искусства, вырезанное когда-то моим прадедом.

— Это, «Роза», — бабушка бережно проводила пальцем по резным лепесткам. — Её пекла моя мама для отца, когда он уходил на войну. — Внучка, — говорила она мне, — это, запечённая молитва. Пусть сердце твоего отца не черствеет, как эта корочка, а остаётся мягкой, как её сердцевина. Он вернулся и всегда говорил, что это печенье его хранило. Видишь, Стасечка? Слова, замешанные в тесто, обладают силой.

— А это, «Пчёлка». Её пекли, когда в доме ждали ребёнка. Чтобы рос трудолюбивым. Чтобы жизнь была сладкой, а семью он берег, как пчела улей.

Затем начиналась магия. В ступке бабушка растирала тёмные зёрна кардамона, палочки корицы, звёздочки бадьяна. Воздух щекотал нос и вызывал слёзы, от этой щемящей радости.

— Тесто должно выдохнуться, — говорила она, укрывая горшок полотенцем. — Набраться терпения и веры.

Замешивать тесто мне не доверяли, но я могла подливать тёплое молоко и, затаив дыхание, смотреть, как бабушка вливает в него тёмный, как ночь, мёд. Она месила долго и сосредоточенно с закрытыми глазами, вкладывала в тесто тихие слова, известные лишь ей.

— Хорошо, девочка, чувствуешь. Смотри, у тебя «Сердечко» ровнее легло, чем в прошлом году, значит, и в твоём собственном сердце порядок наводится.

Потом они пеклись. Запах был таким навязчивым, что просачивался сквозь щели в рамах. Соседские ребятишки прилипали носами к стёклам, дышали на холодное стекло, предвкушая угощение.

Готовые, ещё тёплые печенья нельзя было есть сразу. Их аккуратно складывали в жестяную коробку с изображением Варшавы, тоже часть ритуала. И лишь на следующий день, за большим столом, при свете лампы, каждый из нас получал своё. Я, родители, Зоська и братья.

— Тебе, Стася, — бабушка протягивала мне «Розу». — Чтобы красивой росла и смелой, как цветок, что сквозь снег пробивается.

Я отламывала крошечный кусочек. Взрыв вкуса, пряного, сладкого, глубокого, надолго оставался во рту.

Сынок, в гетто, когда желудок сводило от голода, а в ноздри впивался запах смерти, я закрывала глаза. Заставляла себя дышать глубже. Пробивалась сквозь все эти смрады к аромату корицы, мёда и гвоздики. Я нюхала собственную кожу, впитывая в себя призрак того запаха. Я вспоминала жестяную коробку, каждую царапинку на её эмали, каждый завиток рисунка. Перебирала в уме бабушкины истории, словно чётки. Язык прижимался к нёбу, вызывая из памяти тот вкус.

Это была моя самая страшная и самая светлая тайна. В концлагере я снова и снова пекла. Месила призрачное тесто, вдыхала призрачный мёд, вынимала из духовки воображения «Розы» и «Пчёлка». Старалась не упустить ни одной детали: тяжесть ступки, звёздочку бадьяна, тепло молока.

Я поняла это не сразу. Сначала я просто пекла, чтобы сбежать, а потом, чтобы доказать себе, что даже если здесь, в тьме и горечи утраты можно замесить тесто и почувствовать его тепло, значит, главный закон творения не отменён. Они могли сжечь хлеб, но не могли сжечь рецепт. Не могли отнять у души её главное умение: брать разрозненные крохи бытия и сплавлять их в то, что имеет вкус, вес и может быть передано.

В эти минуты я была не измождённой, оборванной женщиной за колючей проволокой. Я отламывала кусочек и чувствовала его на языке, твёрдый, пряный, сладкий. Я снова становилась девочкой на кухне в луче зимнего солнца. С липкими от теста пальцами и слушающей тихий, мудрый голос бабушки.

И я сжимала этот вкус в кулаке, так же цепко, как когда-то ты держался за мою руку, делая первые шаги. Этот вкус был сильнее голода, выше инстинкта и неотвратимее смерти.

И пока длился этот вкус на языке, лагерь отступал.

А потом в уши врезался запах карболки и голос надзирательницы: — 41335, на работу!

Я открывала глаза. «Бабушка, прости, твоё печенье сбежало. По дороге в печь завернуло в концлагерь и удрало.»

Мысль была нелепой, духовка была тут, в голове, а печенье сбежало. Эта внутренняя ирония и последний шип, за который цеплялось сознание. Чтобы открыть глаза и встать, чтобы идти туда, где руки пахнут не мёдом и корицей, а карболкой и дезинфекцией, которую всё равно нужно было принимать.

Глава 8. Нить и лезвие

Таков был наш мир. Пахнувший домом и дождём, скреплённый заветом отца. Мы были так уверены в его нерушимости, что не заметили, как он стал воспоминанием. Последний кадр перед тем, как киноплёнку порвёт.

Я пишу эти строки, и в окно бьётся мотылёк. Слепой и настойчивый, он тычется в стекло, за которым уже стемнело. Он ищет света, не ведая о преграде. Так и мы жили в своём теплом, звенящем аквариуме детства, не видя тени, что медленно поднималась снаружи, затопляя свет.

Закрываю тетрадь. Голубая нить лежит передо мной, когда-то она связывала два дома и два сердца. Теперь она, всего лишь отрезок шёлка.

Я знаю, что скоро подойдут и перережут её и первый разрез будет беззвучным. Просто сосед отведёт взгляд, просто в знакомом голосе появится стальная струнка, просто дверь закроется чуть медленнее, чем вчера.

Мы не знали тогда, что нашу прочную, пахнущую хлебом и яблоками жизнь можно разрезать, как мамин воскресный пирог.

И первый шов, грубый и неловкий, был наложен не в сентябре тридцать девятого, когда началась война. Его положили те первые, робкие предательства: сдвинутая гирия на весах, украденное яблоко, брошенный у забора брат, молчаливое одобрение расправы над куклой.

Двор, где мы учили друг друга «держитесь вместе», стал нашим первым полигоном. Там мы впервые, сами того не ведая, точили лезвие, что вскорости разрежет нашу общую жизнь, и мою голубую нить, на «до» и «после».

Я беру катушку. Шёлк прохладный, но в нём живёт память о тепле, о смехе в крапиве, о пирогах, пахнущих целым миром. Я кладу её обратно в шкатулку, рядом с засохшими цветами и вспоминается мамин сундук. Она не выкидывала старые вещи. Распарывала их, стирала, гладила лоскуты и складывала. — Всё пригодится, — говорила она. В плохие дни поднимала крышку, перебирала выцветшие ситцы и шерсть, проводила руками. Казалось, читала по ним, вспоминала платье, в котором я пошла в первый класс, рубаху отца, в которой женился. Она верила: ничто не пропадает окончательно. Всё можно распороть и сшить заново.

Глава 9. Дрожь на пороге и два солнышка

Ты просил писать честно, сынок. И я пишу, потому что знаю, тот стержень, который держит человека, когда все рушится, куется в мирных мгновениях, где сердце учится любить и выбирать.

Юность — это трепетная дрожь и каждое утро несёт обещание, а вечером накатывает тягостная усталость от нераскрытых возможностей. Я стояла на пороге своего дома и смотрела в гудевший за калиткой мир. Главный вопрос тогда был: — Куда? Куда я должна применить эти руки, свое сердце, чтобы они приносили пользу людям?

Мама поймала меня на пороге. — Стася, куда собралась? Уже темнеет. — К пани Ядвиге на праздник, она просила помочь — сказала я. — Праздник, — мама фыркнула, вытирая руки о фартук. — Там одни франты да сплетни. Ты бы лучше за Зоськой посмотрела, у нее опять температура. — Я не сиделка! — вырвалось у меня резче, чем хотелось. — Мои руки уже скоро сгниют от домашней работы и так и останусь старой девой. Мама замерла. Потом медленно

подошла, взяла мои руки в свои. — Руки не гниют, дочь. Они либо строят, либо ломают. И рано тебе думать о женихах.

Бал был душным и фальшивым. Я прижалась к колонне, чувствуя себя журавлём в клетке с попугаями. И тут увидела его. Он стоял у резной дубовой двери, будто стесняясь войти. Неуклюжий, как медведь и гладил дверь. Водил пальцами по узору, как по лицу спящего. Я подошла, не знаю зачем. — Красивая работа, — сказала я, просто чтобы что-то сказать. Он вздрогнул, обернулся. Глаза серые, глубокие, как лесное озеро. — Слышите? — прошептал он, и в его голосе была такая уверенность, что я кивнула, хотя не слышала ничего. — Она поёт. Эта дубовая панель. Её резал старик, он умер в в том году, но его песня здесь, в этих завитках. Я замерла. Никто в моей жизни не говорил о дереве как о песне. — А там, за окном, — его голос внезапно стал низким, принимают другие законы. В Берлине пишут на бумаге, кого считать человеком, а кого мусором. — Против людей? — выдохнула я. — Как это возможно? — Очень просто. Начинают со слов, потом слова становятся приказами. А приказы... Ему не дали договорить, нас позвали к столу, слова так и повисли в пустоте, никем не подхваченные.

Бронислав стал частым гостем в нашем доме. Однажды в день рождения он подарил мне серебряный колосок. — Чтобы помнила, откуда растут твои корни, — прошептал он.

Я не знала тогда, что эти корни придётся вырывать с мясом и кровью. Что наше «вместе» будет пахнуть не только свадебным пирогом, но и порохом.

Свадьба была весёлой, а через год, в 1917-м, на свет явился наш первенец, Бронислав-младший. Когда я впервые взяла его на руки, крошечного, горячего, с удивлённым взглядом, мне показалось, что весь мир теперь вращается вокруг этих двух тёплых ладошек.

В 1919 году родилась Сильвия, наше второе солнышко.

Именно тогда, когда жизнь казалась наполненной до краёв детским смехом и запахом пелёнок, я сказала Брониславу, что хочу выучиться на акушерку. На следующий вечер он положил на стол свёрток, перевязанный бечёвкой. Внутри лежали настоящие медицинские ножницы, острые, как бритва, и флакон спирта.

Он добродушно посмотрел на меня и на ножницы. — Стерилизовать надо. После каждого раза.

Он дал мне пропуск в профессию: — Иди. Это твой путь. — Ты сильнее, чем думаешь, Стася.

Эти слова стали нашим заветом. Мы ещё не знали, что скоро нам понадобится эта сила.

Глава 10. Капсула в фундаменте

Бронислав сказал это с непоколебимым упрямством.

— Я построю для нас дом. Нет, — он обвёл рукой мнимый периметр, — я возведу крепость. За этими стенами мы будем в безопасности. Я тогда улыбнулась, приняв это за красивую

метафору влюблённого плотника. Прижала к груди спящую Сильвию и спросила: — Крепость. А туалет где будет, Броня? Не знала я, что от этих слов будет сжиматься сердце.

Но ещё до того, как положить первые венцы, он совершил наш семейный ритуал. Выкопал яму, достал жестяную коробочку из-под леденцов. Вложил монету, записку с нашими именами, и будущий эскиз его мастерской. Трехлетний Броник спросил: — Папа, что ты делаешь? — Кладу наше сердце в землю, сынок, чтобы дом жил долго.

— Оно не замкнёт?

Бронислав смотрит на него, потом на меня. В уголке его губ едва заметная усмешка. — Не должно. Мы же его в коробку спрятали. — А если крот съест? — не унимается Броник. — Тогда, — Бронислав кладёт коробку в яму и начинает закидывать землёй, — крот станет самым счастливым зверем на свете. У него будет наше сердце и он будет охранять наш дом. Броник задумывается, явно представляя такого щедрого, сердечного крота-защитника. Я смеюсь и мне показалось, что он закладывает в землю наше общее сердце. Я даже почувствовала его тихий стук сквозь толщу земли и камня.

Сначала он поставил сруб и крышу над двумя комнатами, лишь бы нам с Броником и грудной Сильвией было где спрятаться от дождя и первых простуд.

Потом пристроил кухню и веранду, в которую вечерами вытекал тёплый свет лампы. Он разговаривал с деревом так же внимательно, как со мной.

— Я ему говорю: — Броня, шкаф в детскую нужен и мойка на кухню. А он мне: — Эта сосна просит, чтобы из неё полку сделали, а не шкаф. У неё сучок тут, видишь, характерный. Я любила его за эту странность и он старался.

Внутри всё было «точно по руке»: светлая кухня с большим отшлифованным столом; комната детей с полкой для книг; и маленькая кладовка, мой «уголок акушерки». На полках: кипячёные пелёнки, травы в банках, перевязанные льняной ниткой, жгуты, ножницы. А на стене, под образом Божьей Матери от мамы, висела готовая сумка — чтобы в любую минуту сорваться и бежать помогать чужим детям появиться на свет.

Рядом с домом стояло другое строение, сарай. Его страсть и отдушина. Наш тёплый дом был для него лишь гостиной, куда он заходил обогреться. Это было его царство. Особенно он любил бывать там под вечер, а я стояла на кухне у раковины, слыша ровный гул рубанка, и злилась. Потому что знала: там, в этом святилище, он по-настоящему счастлив. А здесь, со мной, с детьми, с кашей на плите, он просто обязан быть вместе с нами и разве это не тяжелее любой работы?

Иногда я приносила ему ужин. Стояла на пороге, тарелка в руках, а он проводил пальцем по шелковистой доске. — Красиво, — говорил он больше дереву, чем мне. — Суп остынет, — огрызалась я. — Сейчас. Ты только посмотри, какой рисунок...

Я смотрела, видела доску, а ещё видела, что у Броника штанина выше ботинка, и что завтра надо на базар за тканью. Мои мечты были из ситца и крупы, его из дуба и лака. Иногда мне казалось, мы живём в разных домах.

Вдоль одной стены стояли верстаки, заставленные баночками с морилками, кистями, стамесками, рубанками и шлифовальными блоками. Каждый инструмент висел на своем месте, отполированный до блеска многолетними прикосновениями. На полках лежали обрезки цен-

ных пород дерева, дуба, ясеня, ореха; куски фигурного клена, похожего на застывший малахит. Бронислав знал историю каждого обломка, как знают имена старых друзей.

Когда дети засыпали, я выходила на крыльцо. Ветви ивы гладили землю, и в их шелесте слышался домашний разговор и едва уловимый холодок большого мира за калиткой. Я чувствовала собственную, невысказанную тревогу. Хватит ли денег до получки? Почему Бронислав молчит всё чаще? Но ива, кажется, знала больше и, чёрт побери, мне начинало казаться, что и я знаю. Потому что в крепости положено молча держать оборону. И я держала, даже когда злилась на него за молчание.

Сынок, ты спрашивал, как люди находят опору, когда вокруг всё рушится. Я думаю, их держат слова. Твоего отца давно нет, но я помню, как он сказал: — Я построю для нас крепость. Он сдержал слово.

У меня была одна, самая дорогая фотография. Бронислав стоит у только что возведённого сруба, рука на бревне, как на плече друга. Он смотрит прямо в объектив и улыбается той редкой, беззащитной улыбкой, которая бывает только у очень сильных людей, позволивших себе на мгновение расслабиться. На обороте его твёрдый, ясный почерк: «Крепость. Август 1925».

Много лет спустя, уже после войны, в архивах я нашла своё дело. Среди протоколов обысков и доносных бумажек лежала эта фотография. Её изъяли, когда нас забирали. Размножили, подшили в папку с грифом «Политически неблагонадёжные».

Кто-то химическим карандашом, жирно, перечеркнул улыбку моего мужа крест-накрест. Рядом стояло: «Объект 74Б. Ликвидировать». Фото было самым дорогим, и они забрали его тоже.

Два взгляда на одну фотографию. В первом — вся любовь и надежда человека, построившего свой мир. Во втором — безличный приговор системы, единственная цель которой, уничтожить чужие миры, чтобы они не напоминали о том, что у человека может быть своя крепость.

Я всю жизнь старалась сберечь тот свет, что он зажёл. Даже когда стены рухнули. Я до сих пор помню ту монету, записку и рисунок в жестяной коробке. Они там, в земле, под нашим домом. А фотография с крестом в архиве. Но пока коробка в земле, крепость не пала.

Глава 11. Первые роды: когда руки знают раньше головы

К тому времени у нас уже был дом, с ивой у калитки, свежим хлебом по утрам и шумной детворой внутри. Ты, Броник, был уже серьёзным мальчишкой, а Сильвия, солнечным лучиком. Я училась на курсах акушеров.

Училась по книгам, где всё было чётко и стерильно. Ни слова про то, что делать, если нет горячей воды, на полу грязь, а в голове одна мысль: — Господи, только бы не навредить.

Пани Зося, моя наставница, старая акушерка с глазами, которые видели всё, говорила: — Стася, курсы курсами, но настоящая наука — в чужих домах, на чужих родах. Когда придёт твой час, ты не вспомнишь ни одной книги. Вспомнишь только, что рядом есть я. А если меня нет — вспомнишь, что ты не одна.

Той зимой двадцать первого года тихо валил снег. Ночью я уложила вас всех спать, сама села к лампе пересмотреть конспекты. «Тазовое предлежание... признаки асфиксии...» Слова расплывались перед глазами. В голове крутилось: — А вдруг я всё забуду?

И вдруг в дверь постучали так, что дрогнула чашка. Как будто в дверь бросили мёрзлый ком. — Пани Станислава? — в проёме стоял сосед Лях. — Пани Рутковская... началось. Слишком рано. Муж на смене. Поможете?

Сердце упало куда-то в живот. Первые самостоятельные роды. Я знала, что пани Зося сейчас далеко, в другом конце города, у другой роженицы. Я кивнула, уже вставая. Руки сами делали своё дело: сумка, простыни. Бронислав дотронулся до моей спины.

— Иди. Мы справимся, — сказал он просто.

Сугробы хрустели под сапогами. В окнах светились жёлтые квадраты. — У них там тепло, — думала я, продираясь через метель. — А я иду в чужую боль. И, может, в смерть и конспекты мне не помогут. В горле стоял ком. — А что, если ребёнок мёртвый? А если она умрёт? Меня же потом засудят или просто побьют. Бронислав не сможет помочь. Никто не сможет.

У Рутковских пахло луком. Анеля лежала, стиснув простыню, и шептала: — Рано... я не готова. Я взяла её за руку. Её ладонь была мокрой и холодной. — Вот и вся моя уверенность, — подумала я. Но рот уже говорил сам, какими-то чужими, странно спокойными словами: — Готова. Ты не одна. Вдох, как хлеб пахнет. Выдох, как чай остужаешь. — Хлебом пахнет, — злобно думала я, пока она дышала. — А здесь пахнет страхом и я вру. Я уже вру, как опытная акушерка. Значит, всё идёт по плану.

Когда пришло время, в комнате стало слишком тихо. Я услышала, как за стеной булькает самовар. — Сейчас, Анеля. Собери все силы и тужься. И она родила девочку. Красную и недовольную. Я ждала торжества, а почувствовала только дикую, всепоглощающую усталость. И легчайшее, стыдное разочарование: — И всё? Уже? А где же чудо?

Я положила его матери на грудь. Она засмеялась, как девчонка: — Боже... какая она тёплая!

А я смотрела на эту сцену и думала, теперь малышка отдельный человек и я справилась.

Когда я вернулась под утро, ноги подкашивались. На кухне горел свет. Бронислав не спал, он посмотрел на меня. — Ну? — Девочка, орала на весь мир. Значит, будет жить. Он кивнул, молча встал и подошёл ко мне. Его большие, привыкшие к грубой работе руки бережно сняли с меня шаль. Потом он взял мои руки, холодные, затекшие, пропахшие чужим страхом и антисептиком, и повёл к умывальнику.

Он налил в таз тёплой воды из чайника, взял кусок хозяйственного мыла и начал мыть мои руки. Медленно, тщательно, проводя своими натруженными пальцами по каждой линии, смывая с них следы долгой ночи, боль, усталость, чужой пот. Он смывал с меня всё чужое, возвращая себе. Ему.

Просто мыл мои руки, а я стояла с закрытыми глазами, чувствуя, как отступает напряжение, как тепло воды растекается по всему телу. Потом он вытер их чистым, грубым полотенцем, поднёс к губам и поцеловал каждую ладонь.

И только тогда обнял меня, прижал к своей широкой, твёрдой груди, и я наконец расслабилась, позволив себе усталость, зная, что могу быть слабой, он сейчас крепок за нас обоих.

После той ночи всё закрутилось так, что я порой забывала, какой сегодня день. Пани Зося, узнав о первых самостоятельных родах, только усмехнулась: — Ну вот, теперь ты настоящая. Дальше будешь сама. А если что — я рядом. Слух о том, что в нашем квартале есть «своя» акушерка, расходился быстрее молнии. Кто-то стучал в окно ранним утром, кто-то в сумерках, а иногда и прямо среди ужина.

Однажды, после особенно тяжёлых родов в доме, где пахло нищетой и водкой, я не сдержалась. Всё ещё дрожа от адреналина, я буркнула: — Представляешь, у той женщины... муж даже не спросил, как она. Вошёл, посмотрел на ребёнка, спросил: — Мальчик? Кивнул и ушёл. Я хотела ему этими ножницами... — я ткнула пальцем в свою сумку.

Бронислав, не отрываясь от починки кастрюли, сказал своим обычным, глуховатым тоном: — Неправильный инструмент,

— Я онемела. — Что? — Неправильный инструмент, — повторил он, аккуратно зажимая заклёпку. — Для таких дел, топор нужен.

В кухне повисла тишина. Потом из моей груди вырвался звук, короткий, судорожный смех. А за ним настоящий, истерический хохот. Я смеялась, уткнувшись лицом в стол, давась слезами и чувствуя, как смех вымывает из меня ту зловонную грязь, что накопилась за ночь.

Он подождал, пока я отдышалась, вытерла глаза. Потом поставил передо мной свеженалитую кружку. — Ты сильнее, чем думаешь, Стася, — сказал он тихо и улыбнулся.

Я жила между двумя мирами: своим, домашним, и тем, куда меня звали чужие женщины, когда в их жизни начинался самый важный час. Бывали ночи, когда я приходила домой с промёрзшими ногами, садилась у печи, а ты, сонный, пробирался ко мне, прислонялся плечом и спрашивал:

— Мам, а дети там... они все кричат? — Не все, — отвечала я. — Но если кричат, значит, всё хорошо.

Эти годы я помню как непрерывное движение: колыбели, детские голоса, запах молока, сумка на гвоздике, ива за окном, которая росла вместе с вами. И каждый раз, выходя за калитку, я знала: пока в моих руках есть тепло, его хватит и для дома, и для тех, кто ждёт там, за дверью. Потому что за моей спиной стоял он. И его тихие, уверенные руки смывали с меня весь чужой ужас, возвращая к дому. Я не сомневалась, что так будет всегда. Это было самой большой и самой страшной ошибкой моей жизни, верить, что калитка дома может защитить от того, что уже поджидало за поворотом.

Глава 12. Дом с детскими голосами

В тот год Броннику было уже пять, а Сильвии три. Они говорили, как маленькие взрослые, и при этом всё время спорили, кто из них «главный помощник».

— Я главный, — важно говорил Броник, — потому что могу гвоздь забить, если папа даст молоток. — А я главная, — в тон ему тянула Сильвия, — потому что мама меня всегда берёт в магазин, а тебя нет.

Я смеялась и раздавала им «звания» по очереди. Дом гудел их голосами с утра. Броник подолгу расспрашивал папу про работу:

— А если в дереве сердцевина гнилая, что тогда? — Тогда, сынок, его надо или лечить, или не строить из него ничего серьёзного, — отвечал Бронислав, и я каждый раз чувствовала, что говорит он не только про дерево. А о чём, я тогда до конца не догадывалась. Мне казалось, речь о сварливых соседях или недобросовестных заказчиках. Я не ведала, что гнилая сердцевина бывает и у целых народов.

Иногда их игры менялись. Они строили крепость из стульев и подушек, но в их криках не было веселья, только тревожный, деловой азарт. — Они идут! — кричал Броник. — Закрывайте ворота! И в его голосе я слышала эхо наших с Брониславом ночных разговоров.

Сильвия была моим тёплым лучом. Её трёхлетние фразы иногда поражали точностью: — Мама, у тебя глаза, как у чайника, горячие. Она укачивала куклу, прижимая её к щеке и шепча: — Не плачь, я здесь.

А под сердцем у меня уже зрела новая жизнь — наш третий малыш. Я всё ещё ходила на вызовы, хотя живот уже округлился. Иногда, положив руку на живот, я чувствовала, как там, в глубине, бьётся крошечный пульс, и это наполняло меня странной, тихой силой. Даже усталость от бессонных ночей у чужих родов отступала перед этим ощущением: жизнь продолжается, и я её проводник. Носила беременность, как должное, как часть общего порядка вещей.

Профессиональная уверенность приходила с каждым новым вызовом. Тот зимний вечер запомнился до мелочей. Я укладывала детей. Сильвия, уже в ночной рубашке, требовала:

— Мама, спой «Про котика». Только не быстро, а медленно, чтобы он успел дойти до домика.

А Броник с серьёзным видом поправлял ей подушку:

— Ты неправильно лежишь. Вот так надо, чтобы кровь в голове не застряла.

В дверь резко постучали. Я знала, это не сосед за солью.

— Пани Станислава? — в сенях стояла запыхавшаяся девушка, дочка кузнеца. — Мою тётку прихватило. Схватки. Пани Зося сказала, бежать за вами.

Бронислав встал, снял с гвоздика мою сумку.

— Иди, — сказал он тихо. — Я уложу. — Мама, а ты куда? — нахмурился Броник. — Котика спасать, — улыбнулась я. Это была единственная метафора, которую вы оба понимали.

Вызов оказался непростым. Женщина рожала второго, но роды шли туго. Когда ребёнок наконец заплакал, за окном будто дрогнули ветки ивы.

Возвращалась я под утро. В доме было темно, только печь еще дышала теплом. На столе, накрытая миска с картофельным супом и записка кривыми буквами: «Маме. Не забудь покушать. Броник».

Я прочла эти каракули, и что-то внутри перехватило. Дикий и жгучий стыд. Пока я была там, «спасала котика», мой пятилетний сын волновался, что я голодна. Он, который сам засыпал, не дождавшись, уже учился быть моей опорой.

Я села, стала есть этот холодный суп. Ела, давясь слезами, которые наконец прорвались. И меня озарила жёсткая, неудобная правда.

Целостность — это не когда всё на своих местах. Это когда ты разорвана на части, и каждая часть болит по-своему. Там, у чужих родов, болела душа и совесть. Здесь, за своим столом, сердце, растоптанное детской заботой, на которую оно не имеет права.

Акушерство не профессия. Это — диагноз. И мой дом, маленький сын с его запиской, муж, прикрывающий спину, они его следствие этого диагноза. Его единственно возможная плата.

Я доела суп до дна, поднялась, убрала миску. Подошла к детской, постояла в дверях, слушая их ровное дыхание. — Простите, — прошептала я в темноту. — Но я, кажется, иначе уже не умею.

Глава 13. Крепость из стульев

Утро в нашем доме начиналось с дискуссий.

— Я сегодня буду папой, — объявлял Броник, натягивая старую кепку Бронислава. — А ты, Сильвия, будешь мамой. — Нет, я буду врачом, — отрезала она. — Потому что мама всё время врач. — Но тогда я не смогу тебя женить. — И не надо, — вздыхала Сильвия так, что любой сосед решил бы, будто ей уже сорок. — Я сама себе хозяйка.

Дом жил их играми. В прихожей, «магазин», где на полках стояли три камня, кусок мела и засушенный лист, «товары». На кухне, «больница» с пациентами из тряпичных кукол и деревянного петуха, которому, по их словам, «надо срочно вылечить клюв».

— Пациент будет жить? — спрашивала я, проходя мимо. — Будет, — серьёзно отвечал Броник. — Мы ему молитву прочитали и сахаром накормили.

— Сахаром, — улыбнулась я, разнося бельё. — А у меня в сумке — жгут и ножницы. Какая разная у нас медицина.

Иногда они прятались под столом, устраивая там «корабль». Я слышала шёпот:

— Сильвия, шторм! Держись за швабру! — Это не швабра, это мачта, — поправляла она. — Мы плывём к маме.

Но однажды игра изменилась. Я застала их в гостиной: Броник и Сильвия соорудили баррикаду из стульев, одеял и подушек.

— Что это? — спросила я. — Мы строим крепость, — озабоченно пояснил Броник. — От злого великана. Он ходит по улице и кричит.

Сильвия, вся напрягшись, принесла ещё одну подушку.

— Он громит витрины, — шёпотом добавила она. — Я сама слышала.

Сердце сжалось. — Значит, уже и они слышали и впитывают этот яд вместе с воздухом. Я опустила на корточки, взяла Сильвию за руки. — Это не великан, солнышко. Это просто... пьяные хулиганы. Я солгала, прямо в её испуганные глаза и почувствовала себя последней дрянью. — Лучше бы я сказала про великана, — мелькнула дикая мысль. — С великанами хоть можно сражаться в сказке.

В дверях возник Бронислав. Он посмотрел на их «укрепления», и тень легла на его лицо. В его глазах не было улыбки, а лишь неподъёмная грусть.

— Эй, мои капитаны. — Он отшвырнул стул, будто это была не игрушка, а настоящая колючая проволока. — Нет, не крепость! Корабль! Мы строим корабль в Америку!

Его голос сорвался на фальцет, выдавая животное оцепенение. Я смотрела на его судорожные движения и понимала: он не спасает детей. Он спасает себя от мысли, что может понадобиться настоящая крепость.

Однажды вечером, когда Бронислав строгал щепу у печи, Броник сел рядом, положил подбородок на кулак и спросил:

— Папа, а у дерева есть сердце? — Есть, — кивнул он. — Но его видно только тем, кто любит дерево.

Сильвия тут же прижала ладонь к свежей доске:

— Я его слышу. Оно говорит: — Не клади на меня горячий чайник.

На следующий день, чтобы показать им это «сердце» по-настоящему, Бронислав позвал детей в свою мастерскую. Воздух там, как всегда, был своеобразным от запаха стружки и лака. Броник с важным видом надел маленький фартук, подарок отца, а Сильвия уселась на табуретке, наблюдая за братом.

— Вот видишь, — Бронислав положил руку сына на свежий спил ореха, — смотри на кольца. Это и есть его летопись, его сердце. Чем они плотнее, тем дерево крепче.

Броник водил пальцем по текстуре, зачарованный.

Я стояла в дверях, прислонившись к косяку, и смотрела. В этот миг мне казалось, у нас есть эта мастерская, запах дерева, детские руки, которые учатся чувствовать сердцевину. — Ничего не будет, — думала я. — Пока есть это ничего страшного не случится.

А Сильвия закрыла глаза, вдыхая запах, и на её лице застыло сосредоточенное, почти недетское выражение. Казалось, она не просто нюхает дерево, а слушает, как в нём спит тот сад, где она совсем недавно играла. Она нашла кусочек своего лета и теперь не хотела его отпускать.

Вдруг раздался стук в дверь. На пороге стоял Янек Панкевич. Я узнала его сразу, тот самый мальчишка, что когда-то норовил вскрыть чужое письмо, а теперь вырос в долговязого парня с такой же скользкой, недоверчивой ухмылкой.

— Не помешаю, Броня? — спросил он, снимая кепку. — Заглянул насчёт шкафа... да и новости из города невесёлые.

Мне сразу захотелось выйти, увести детей. Но я замерла, как кролик перед удавом.

Бронислав кивнул, разрешая остаться. Янек, понизив голос, заговорил о списках, обысках, исчезнувших знакомых. Дети притихли, ловя непонятные, но пугающие слова. Бронислав слушал, не перебивая, но его взгляд то и дело возвращался к детям, словно он пытался измерить ту пропасть, что пролегла между уютным миром его мастерской и жестоким миром за её стенами.

Пока Бронислав показывал ему чертежи, Янек не умолкал. Он сыпал советами, к кому обратиться, кто «правильный», а с кем «нужно быть попроще». Эта болтовня казалась дружеской, но в ней чувствовалась настойчивая потребность всё знать и всё контролировать.

Когда дело было обговорено, Янек вытер лоб и, глядя куда-то мимо Бронислава, сказал:

— Ты, Броник, человек правильный и прямой. Это хорошо. Он сделал паузу, и в этой паузе повисла вся его подлая суть.

— Но в наше время... иногда нужно знать, когда согнуться. Или когда посмотреть в другую сторону. Понимаешь? Чтобы своя рубашка к телу ближе была.

— Согнуться, — пронеслось у меня в голове. — Посмотреть в другую сторону. Он не изменился, он просто нашёл систему, где его умение «смотреть в другую сторону» стало востребованным. И теперь он пришёл научить нас.

Он ушёл, оставив после себя неприятный осадок.

Бронислав вернулся к верстаку, взял доску, на которой показывал кольца сыну. Провёл ладонью и вдруг с силой швырнул её в угол.

Дети вздрогнули.

Я подошла, подняла доску, на ней была трещина. — Ничего, — сказала я громко, для детей. — Папа просто проверял, крепкая ли. Крепкая. Я опять соврала. Трещина была глубокая. Бронислав стоял, отвернувшись, и смотрел в маленькое оконце, за которым уже сгустились сумерки. А в щели под дверью гулял сквозняк.

Глава 14. Два крика в одном доме

В тот день я впервые поняла: акушерка дома, это особое испытание. Ты и мать, и хозяйка, и врач, и та, кто потом должна успокоить старших детей, пока младшие орут на весь двор.

Зимой 1922 родился наш третий ребенок — Сташек. Он сразу был шустрым, крикливым и требовал грудь.

А весной 1923-го, появился Генрик. Маленький, тёплый комочек, хитрый с пелёнок, он умудрялся, не открывая глаз, находить молоко и так же незаметно снова засыпать.

С тремя мальчишками и одной Сильвией наш дом превратился в гудящий улей. В коридоре по утрам шла борьба за сапоги, в кухне, за последний кусок хлеба, а в детской, за книжку с картинками. Броник, уже гордо считал себя старшим и пытался учить Сильвию читать. Она фыркала:

— Я и так умею!

Сташек учился говорить на ходу и чаще всего кричал «моё!», которым он сопровождал каждую попытку залезть на табурет к миске со сладостями.

Генрик был тихим наблюдателем, пока не решал, что момент настал, и тогда его визг перекрывал всё. Этот звук сверлил виски, проникал в кости. Я качала его, а сама смотрела в темноту, и где-то на самом дне усталости, шевельнулось чёрное и липкое: — Замолчи. Просто исчезни.

И тут же, охваченная ужасом, я сжала его так, что он взвизгнул уже от боли. Я почувствовала, как под пальцами прогибаются его рёбрышки, и отпрянула, чуть не уронив. Этот миг разделил жизнь на «до» и «после». До, я была матерью, после, стала существом, способным на мысль об убийстве собственного ребёнка.

Время остановилось. Я отдернула руки, будто обожглась о раскалённое железо. Он шлёпнулся на перинку и затих, шмыгая носом. Во мне ничего не было, ни ужаса, ни раскаяния. А потом пришло тошнотворное знание: — Ты можешь. Физически способна. Ты только что была в миллиметре от этого. В тот миг я была уставшей машиной, в программе которой случился сбой. И этот сбой показал её истинное, чудовищное назначение.

Я взяла его на руки, прижала, целовала его макушку и шептала: — Прости, прости, родной...

А внутри ползала холодная гадюка мысли: — А что, если бы не остановилась? Как бы я это объяснила? «Ребёнок задохнулся». И все бы поверили. Потому что так бывает. Злоба шла

впереди, а любовь плелась следом, прибирая за ней, как служанка за госпожой. И я боялась своей способности тут же всё прикрыть, облагородить, сделать вид, что ничего не было.

Утром Бронислав застал меня у печи. Я резала хлеб, и руки дрожали. — Что с тобой? — спросил он, наливая себе чай. — Ничего. Не выпалась. Он посмотрел на меня. Посмотрел так, будто видел эти синяки на моей душе. — Генрик орал? — Да. — А ты?

Я замерла с ножом в руке. — Я что? Я поняла: он знает. Знает, что бывают ночи, когда материнство каторга. Слышал, у Степановых на той неделе мать ребенка заспала.

Он сказал это буднично, а я услышала: ты не одна. Мы все на этой грани. И «выдержать», значит не поддаться темным мыслям сегодня.

Я ловила себя на том, что в голове всегда два счёта: один, сколько банок компота осталось в погребке, и второй, кто из детей где, цел ли, сыт ли и не лезет ли в печь.

Но, знаешь, сын, в те годы я чувствовала, что живу на полную. Днём, ваша мама, ночью, чья-то единственная надежда. А по утрам, когда вы, сонные и тёплые, собирались за столом, я верила, что моим рукам хватит тепла и на наш дом, и на весь чужой мир. Я ещё не знала, как скоро он станет ледяным, и этого тепла окажется до обидного мало.

Глава 15. Там, где рождается рассвет

Иногда, когда все спали, я выходила на крыльцо и стояла в темноте, глядя на звезды. Пахло истоптанной травой с детских сапог и теплом спящих тел. — Крепость, — думала я, вдыхая этот запах и тут же ловила себя: — Крепость, с вечно пустым кошельком и четырьмя ртами, которые нужно кормить завтра.

За калиткой начиналась другая жизнь: в чужих окнах горели одинокие огоньки, а на пустой улице шаги значили только одно, меня зовут.

Там, куда я шла, было гораздо хуже. Тянуло тяжёлым духом запертой печи, прелого белья и лекарственных трав. Полы скрипели, обои отходили, а в углах висели паутины. В этих бедных комнатах я училась помогать появляться на свет.

И училась ненавидеть эту бедность. Ненавидеть тихо, профессионально, потому что из неё, как из грязи, рождались самые красивые и самые ненужные миру дети.

Весной, когда снег сошёл, но земля ещё держала зимний холод, в калитку забарабанил мальчишка-сосед:

— Пани Станислава, скорей! Пани Франка зовёт, ей плохо.

У меня тоже было «плохо»: Броник с температурой, на плите недоваренная каша. Но это «плохо» было моим, домашним, а там чужая боль, которая почему-то всегда важнее. Я знала Франку. Худенькая, с девичьей улыбкой; муж строил мост через реку.

Роды начались рано. В избе горела лампа, мать Франки держала у печи котёл с водой, муж стоял в углу белый.

Франка сжимала одеяло, зубы стучали, дыхание сбивалось. Ребёнок спешил, а силы у матери уходили. Мы работали вдвоём, я и её мать. Ромашка, пот, боль, всё смешалось и вдруг Франка тихо, почти как ребёнок, спросила:

— Я успею его увидеть?

Я взяла её руку и ответила то, во что хотела верить сама:

— Успеешь и ещё не раз будешь сердиться на его шалости.

Мальчик выскользнул в мои ладони. На миг был синий и тихий, и у меня внутри всё оборвалось, но тишина продлилась одно сердцебиение, он пронзительно закричал. Я положила его на грудь Франке, и она впервые за ночь улыбнулась.

В тот миг, когда его крик пронзил тишину, я почувствовала словно от моих рук к этому новому существу потянулась невидимая нить, и теперь мои руки, лишь упругий мост между небытием и жизнью.

Я и есть теперь эта нить. Тонкая, почти невидимая. И всё, что требуется, держаться, связывать одно сердцебиение с другим, пока хватает сил дышать.

Когда вышла, над крышами уже легла тонкая розовая кайма. За моей спиной плакала новая жизнь. А впереди, в розовой дымке рассвета, ждала семья. Я шла навстречу своему дому, не зная, что счет уже пошел. Что вскоре этим рукам придется отмерять шансы на выживание. И держаться надо будет уже за обрывок памяти о том, как пахнет мой дом на рассвете.

Часть II. ТЕНЬ (1930-е)

Глава 16. Язык дерева

Бронислав говорил мало. Зато его руки не просто работали с деревом, они с ним разговаривали.

Его настоящая любовь была в крошечной фабричной мастерской. Здесь, в облаке золотистой стружки, он был мастером.

Однажды я принесла ему обед и застала за странным занятием: он сидел на верстаке, замерев, и водил ладонью по широкой дубовой доске, будто пытаюсь нащупать то, что скрыто от глаз.

— Что ты делаешь? — Слушаю, — ответил он тихо. — У каждого дерева свой голос. Вот сосна — торопливая, вся в сучках, как подросток. А этот дуб старый, мудрый, он помнит бури. Его характер нужно почувствовать. Дерево не терпит лжи, Стася. В нём сразу видно всё: и любовь, и спешку, и равнодушие.

Потом он показал мне свою сокровищницу. Дома, в ящике комода, под стопкой белья, лежала толстая папка с эскизами. Стул с ножками, изогнутыми, как стебли цветка. Колыбель-ладья, будто вырезанная из одной волны.

— Это для нашей гостиной, — он ткнул пальцем в эскиз кресла с высокой спинкой. — Ты будешь читать в нём, а я буду смотреть и знать, что сделал это для тебя.

Я рассмеялась: — Только чтобы сиденье не скрипело громче, чем я ворчу, когда ты разбрасываешь носки. Он улыбнулся, но глаза его были серьёзны.

А это... — он перевернул страницу, и его голос смягчился. — Это моя мечта.

На пожелтевшем листе была изображена светлая, высокая мастерская, большие окна, залитые солнцем. Подпись его твёрдым почерком: «Столярная мастерская Бронислава Лещинского».

— Здесь я буду работать не на фабрику, — прошептал он. — А делать вещи по своим правилам. Мебель, которая проживёт дольше нас. Её будут передавать по наследству. Понимаешь? Понимала ли я? Мне было страшно. Его мечта казалась такой же хрупкой и прекрасной, как паутина на утреннем солнце.

— Для этого нужны деньги, — осторожно заметила я, тут же ненавидя себя за этот женский, убийственный довод. — Не сразу, — кивнул он с такой непоколебимой уверенностью, что мне оставалось только верить и бояться ещё больше. — Буду копить. Каждую злоту.

Как раз тогда в город пришла новость: на большой фабрике установили станки, которые выдавали дешёвые табуреты вдесятеро быстрее любого ремесленника.

С этого дня в Брониславе поселился раскол. Он мог с утра, с тем же священным трепетом, вытачивать ножку для стола, чувствуя, как в его руках рождается красота. А после обеда отложить стамеску, повертеть в руках почти готовую деталь и бросить с горькой усмешкой:

— Красиво и никому не нужно. Скоро такие вещи будут только в музеях, как кости вымерших животных.

Его мастерская превратилась в поле боя, где вдохновение сражалось с безнадёгой. И с каждым таким приступом пустоты он всё дольше задерживался у потухшей печи по вечерам. Сидел в темноте, молча и неподвижно, будто вслушивался в нарастающий гул за стенами, гул мира, в котором ему больше не было места. Он ещё не пил, но он уже учился подолгу сидеть со своим отчаянием с глаз на глаз. И эта тихая, трезвая привычка к гибели была страшнее запоя.

Но однажды вечером, когда суета дня утихла, Бронислав подошёл к окну и долго смотрел на тёмный прямоугольник своей мастерской. Он тяжело вздохнул.

— Заказы стали меньше, — произнёс тихо, не оборачиваясь. — Люди берегут деньги. Не до новых шкафов, когда будущее кажется таким зыбким. Боятся.

Он помолчал, а потом добавил:

— Ту мастерскую... большую... придётся отложить. Не время сейчас затевать такое.

Он повернулся, и в его глазах, обычно таких ясных, я увидела зародившуюся тревогу. Это была холодная тень той тучи, что надвигалась на наш маленький, такой прочный мир. И в доме воцарилась иная тишь, ожидания.

Сынок, ты спрашивал, каким был твой отец до того, как мир сошёл с ума? Творцом.

Он сидел в мастерской и смотрел на незаконченное кресло и не прикасался к нему.

Я думала, он умирает от того, что не осуществил мечту. А он умирал от того, что мир, для которого её лелеял, оказался лживым. Что его вера в красоту, в прочность, в наследие, была наивной ошибкой. Он верил, что честность запечатлена в кольцах дерева, а мир оказался сделан из картона и ненависти.

А я могла только смотреть и хоронить его заживо вместе с мечтой, по одному незаконченному креслу в день.

Я храню его папку. Иногда открываю, и на меня веет тем воздухом, которым дышала его мечта, пылью дерева, лаком и далёким солнцем будущей мастерской. А потом запах перебивает другое, едкий и горький. Запах мира, который сначала отнял у него ремесло, потом, достоинство, а потом и самую возможность быть отцом.

Глава 17. Свадьба Марыси

Свадьба Марыси (той, что с Зоськой делила куклу) пришлось на пик лета. Солнце каталось по бездонному небу, пчёлы лениво гудели в цветах. Воздух дрожал от жары, звона посуды и общих песен.

На лугу за домом пел праздник. Длинные столы, покрытые выбеленными скатертями, прогибались под едой. Пахло дымящейся колбасой, тмином с горячего хлеба и свежескошенной травой. Над всем витал пьянящий дух цветущей липы.

Ханка, с васильками в косах, отплясывала так, что летели искры. На мгновение она поймала мой взгляд и улыбнулась, но в уголках ее глаз я впервые увидела какую-то новую, напряженную озабоченность.

У стола с водкой столпились мужчины. Среди них был и Янек. Он, как и все, выпил, но его смех был громче и резче других, а глаза не улыбались, а бегали по собравшимся, будто он искал, к кому бы примкнуть. Пан Михаль, наш сапожник, стоял чуть поодаль. Он курил свою вечную трубку, и его спокойный взгляд скользнул по лицу Янека. Он медленно выпустил струйку дыма и отвернулся, будто отворачивался от дурного предзнаменования.

Братья Франек и Войтек орали патриотическую песню. Войтек выкрикивал слова с таким яростным упоением, что Франек одернул его: — Успокойся, это же свадьба, а не митинг.

А Бронислав... Он был так красив в белой, чуть тесноватой рубахе.

— Мы будем жить с тобой долго и умрем в один день, — сказал он. И я поверила. Мы все верили, что жизнь будет длиться вечно, как этот день.

Скрипки звучали, ложки звенели о тарелки. Марыся вся в белом сияла. Её жених Ян не отводил от неё глаз, боясь проронить слово. Они были воплощением самой чистой надежды.

И вдруг скрипки смолкли, резко оборвали звук, будто у них перехватили горло. В наступившей тишине со стороны вокзала донесся отдаленный, но четкий звук, металлический лязг и приглушенные команды. На одно мгновение все замерли, застыв в неестественных позах, а потом музыка рванула снова, слишком громко и весело, пытаясь затопить прорвавшуюся извне реальность.

Когда шафер объявил общий танец, дядя Вацек крикнул: — Цепь, ребята, цепь! Как в старину!

Все, от мала до велика, схватились за руки. Молодые и старики, родня и соседи, мы стали единым целым. Ладони были разными, шершавыми и нежными, но в тот миг каждая была частью общего пульса.

Наклонившись за упавшим платочком, я услышала обрывок разговора двух дядьев:

— ... а в Данциге уже носятся, как ошпаренные. Говорят, свои патрули... — Молчи, всех нас одна судьба ждёт...

Их голоса потонули в громе гармонии. Я выпрямилась, сжимая в руке пыльный платок. Слова были непонятны, но тяжёлый привкус тревоги отозвался во мне тем же холодком, что когда-то прятался за маминым «тш-ш-ш».

Мы шагали в такт, и под ногами была твёрдая, надёжная земля, а этот круг казался нерушимым. Отец стоял напротив, и я видела, как его взгляд скользит по сцепленным рукам, по этому живому кольцу. Он не сказал ни слова, только кивнул, коротко, почти невидимо для других, и в этом кивке было всё: и память о стружках во дворе, и суровая уверенность.

Когда стемнело и зажглись фонари, мы встали в большой круг и запели. Мы верили в это так сильно, будто круг из рук и был той единственной вечностью, что не подвластна никаким ветрам.

Но когда песня оборвалась и круг распался на отдельные фигуры, я увидела Бронислава. Он стоял в стороне, спиной к веселью, и смотрел в темноту за околицу. Я подошла к нему, просунула руку под его локоть. Он вздрогнул, словно разбуженный, и на миг его рука обвила мои плечи так крепко, почти болезненно.

— Что-то случилось? — спросила я шепотом.

— Пойдем домой, Стася, — сказал он просто. — Я устал от этой музыки.

Мы шли по темной дороге, и тишина вокруг была уже настоженной, как затаившееся животное перед прыжком.

Глава 18. Три Огня

На ту неделю выпало три вызова, три бездны нищеты.

Перед первым выходом, проверяя сумку, я провела пальцами по футляру с иглами, по замоченным в склянке ниткам. Привычный жест, будто проверяла, на месте ли мой внутренний стержень. Готова ли я снова нести этот груз.

В избе, где старшие дети, словно птенцы, грели младших под единственным одеялом, я приняла жизнь. Пол устилала старая рогожа, окна щемили тряпичные пробки. Женщина рожала молча, лишь блеск огромных глаз выдавал, как далеко она уходит в эту боль, в темный лес схваток. И когда ребенок, огласил тесную комнату первым громким криком, он прорвал отчаянье. Этот крик стал костром, разожженным посреди нищеты.

Следующий дом встретил холодом потухшей печи и одним-единственным стулом. Муж держал жену под мышки, схватки качали ее, как ветку на ветру. Слабость матери, холод, сжимающий легкие новорожденного. Ребенка мы завернули в единственную шаль. Он дрожал у меня на руках, как пламя в очаге, которому грозит затухание. Его дрожь я чувствовала сквозь ткань, и кожу, до самого сердца.

Третий дом был самым темным. Керосиновая лампа отбрасывала жуткие тени на стены, пляшущие силуэты боли. Принимая тяжелые роды в невыносимых условиях, на грани жизни и смерти, я чувствовала, как почва уходит из-под ног. И вдруг в памяти всплыл образ иглы, холодной, тонкой и непоколебимой в своей цели.

И меня осенило: я, игла, моё дело, протягивать сквозь плоть мира нить знания, воли и дыхания. Без меня она бессильна, а без нити я, просто кусок стали. Но вместе мы стягиваем края рваной жизни.

Роды прошли в этом безмолвии, ребенок появился беззвучно. Пока я растирала его крошечное тельце, вдывая в него жизнь, шепча заклинания опыта и отчаянной надежды. И когда он наконец захрипел, а потом залился пронзительным, сердитым плачем, я выдохнула.

Возвращалась под утро. В небе еще горели последние звезды. Не каждый вызов оставляет в ладонях жар новой жизни. Иногда он оставляет усталость и щемящую безнадежность. Но за калиткой, в сизой утренней дымке, уже мигали огоньки других окон. И ты снова идешь, потому что во тьме чужой беды, должна родиться не только жизнь, но и надежда. Мостом к ней были мои усталые руки и другого моста у той надежды не было.

Глава 19. Эфир

Шли тридцатые годы. Однажды Бронислав принёс тёмно-коричневый приёмник, и он стал центром нашего вечернего мира. Сперва из него лились вальсы, но с какого-то момента эфир начал меняться. Сперва, короткие сводки, на которые Бронислав хмурился. Потом длинные и колючие речи.

В тот вечер на кухне пахло жареным луком, Сильвия выводила пальцем узор на шершавой скатерти. Бронислав, вернувшись с фабрики, машинально потянулся к ручке репродуктора.

И сквозь уютное потрескивание дров в печи в комнату ворвался металлический голос. Он был не из нашего мира тёплых оладий и смешных детских рисунков на стене.

— ...наша великая нация подвергается угрозе! Чужаки, паразиты, должны быть изолированы!..

Ложка в руке Бронислава медленно опустилась. Его пальцы разжались, будто выпуская что-то важное.

И в этой новой, колючей тишине наши дети замерли, каждый на своём рубеже.

Бронику было шестнадцать. Он не отрывал взгляда от репродуктора, слушал ритм этой ненависти, пытаясь осмыслить новую, пугающую логику.

Сильвии, четырнадцать. Она вязала, глядя в окно, но пальцы замедлились, чувствовала угрозу хрупкой гармонии, что царила в её душе.

Сташеку, одиннадцать. Он сидел на полу, перебирая деревянный конструктор, но игра шла вяло. Он чувствовал напряжение, витавшее в воздухе, и его детское сознание пыталось сопоставить знакомые голоса из радио с этим новым и пугающим.

Генрик притих у моих колен, прижавшись плечом. Его взгляд, скользил по взрослым лицам, пытаясь прочесть в них ответ.

— Папа... — спросил Генрик, заставляя Бронислава вздрогнуть. — А кто эти чужаки? Это те, кто... не такие, как мы? Почему их нужно... изолировать?

Бронислав резко встал, с такой силой, что стул грохнулся на пол, выключил приемник и вышел хлопнув дверью.

Запах оладий вдруг стал приторным и противным. Я нашла его в чулане, с бутылкой самогона, что годами пылилась на полке «для крайнего случая». Он пил большими, жгучими глотками.

— Весь мир сошёл с ума. Эти слова... Они же, как кислота... Они разъедают всё.

Он пил от бессилия. В ту ночь свет в его мастерской не зажигался. Он сидел в темноте, и пытался спрятаться от голоса, который уже проник внутрь нашего дома. И от которого уже не было спасения.

Глава 20. Маленькие шумные тени

Если Сильвия была задумчивой барышней, погружённой в собственные мысли, а Броник, серьёзным, немного замкнутым юношей, то Сташек с Генриком по-прежнему оставались вихрем энергии.

Сташек уже не замирал над муравейниками, но мир по-прежнему манил его тайнами, которые нужно было разгадывать немедленно и с помощью физической силы. Он мог с важным видом разбирать старые часы на кухонном столе, а через минуту, с криком: — Смотрите, как работает маятник!, влететь в комнату, едва не снося по пути этажерку.

— Сташек, аккуратнее! — пыталась я вложить в голос упрёк, но он парировал с непоколебимой уверенностью первооткрывателя, чья цель оправдывает любые издержки. — Я всё рассчитал, мама! Просто центр тяжести сместился...

Генрик был его верным оруженосцем и живым компасом, указывающим на источник приключений. Он носился по дому сломя голову, и если Сташек был генератором идей, то Генрик, их оглушительным воплощением. Его радостный возглас, возвещавший о начале очередной «экспедиции» на чердак или в сад, заставлял Сильвию вздрагивать над книгой, а Броника ворчать: — Опять этот локомотив дал гудок.

Но стоило Генрику, споткнувшись, ушибить коленку или столкнуться с несправедливостью старшего брата, как его плач мгновенно мобилизовал всю семью. Это был не просто рёв, это был сигнал тревоги, призыв к сплочению.

Однажды вечером Бронислав, уставший после смены, чинил расшатавшуюся дверцу шкафа. Сташек устроился рядом с инструментами, перебирая стамески и отвёртки, пытаясь помочь. Генрик, с интересом наблюдал за работой отца, его пальцы хватали какой-нибудь винтик или гвоздик.

Я уже хотела вмешаться, но Бронислав поднял руку.

— Пусть, — тихо сказал он. — Пусть учатся. Инструменты должны слушаться рук, а не пугать их.

И я увидела, как его большая, точная в движениях рука накрыла две мальчишеские ладони, более смуглую и уверенную руку Сташека и мягкую, но не менее цепкую, Генрика. Он водил их пальцами по шершавой поверхности дерева, и они, затаив дыхание, слушали его негромкий, основательный голос:

— Вот видишь, тут сучок. Его нужно обойти, иначе пойдёт трещина. Дерево живое, оно требует уважения.

Они, конечно, не понимали ещё всех тонкостей, но чувствовали вес ответственности, скрытый в этих простых словах, и доверчиво отдавали свои руки в надёжные отцовские ладони.

Я стояла на пороге и думала, что наша жизнь, это не только тихие, взрослые разговоры с Броником и задушевные беседы с Сильвией. Это ещё и этот вечный, шумный, суетливый гул двух мальчишек, которые пока не вникали в тревожные новости из репродуктора и не спрашивали о будущем. Они просто жили: с азартом и жадностью познавали мир, требовали блинов, падали, мирились и смеялись.

Они были нашим настоящим. Шумным, липким от варенья, вечно куда-то спешащим и оттого бесконечно дорогим. Нужно было обнять их крепче, вдохнуть поглубже этот запах детских волос и печенья, зарубить на сердце каждую их улыбку. А мы просто жили, не подозревая, что живём в последний раз.

Глава 21. Соседи

Наша улица была маленьким миром, где все знали друг друга. Евреи Гольдберги стали нам ближе родни.

Их семья жила в таком же, как у нас, домике, только их фасад всегда был выкрашен в солнечно-жёлтый цвет. Хаим Гольдберг торговал тканями, и от него всегда пахло чем-то новым и свежим. Его жена, пани Ирена, была пышной, шумной и невероятно доброй женщиной. А их дочь Лея стала лучшей подругой моей Сильвии.

Они были ровесницами, двумя струнками, настроенными в унисон. За несколько лет наши девочки успели вырасти. Сильвии уже семнадцать. Прошлым летом она добровольно надела белый халат санитарки в городской больнице. Теперь она шла по улице с сосредоточенным светом в глазах, который бывает у людей, которые учатся облегчать чужую боль. Её документы уже лежали в приёмной комиссии медицинского института, она считала, что её призвание было единственной истиной в мире.

Лея же, в глазах которой всё ещё прыгали озорные искорки, собиралась поступать на филологический. Её густая чёрная коса хлестала по спине, когда она бежала к нам через двор, застигнутая взрослением в неподходящее время.

Именно с этого двора, все и началось.

Пани Ирена, зайдя за дочерью, задержалась на чай. Её улыбка в тот день была слишком яркой, жесты, слишком порывистыми.

— Стася, дорогая, ты просто обязана попробовать мой новый штрудель, — говорила она, разворачивая салфетку с пышным, румяным рулетом. — Я добавила немного миндаля и цедру лимона.

Но её глаза метались, ища в моём взгляде подтверждения: всё ещё свои? В воздухе уже витало что-то невысказанное, какая-то новая, колючая тяжесть.

В это время Бронислав, заслышав знакомый скрип двери у Гольдбергов, взял свой ящик с инструментами и отправился её подтянуть. Это было обычным делом в нашем мирке. Идиллия. Хрупкая и почти невозможная.

Когда чаепитие закончилось, девушки, получив по куску штруделя, вышли во двор. Они расселись на скамейке, пытаясь продолжить разговор, но их смех звучал натянуто, а жесты были скованными. Они сидели спиной к дому, будто выставляли себя мишенью, и в то же время пытались спрятаться друг в друге.

Во двор зашли трое старших парней из семьи, что жила напротив. Их отца все побаивались за его скверный характер. Парни, как точное эхо, переняли его повадки. В последнее время они стали смелее, их взгляды, наглее.

Они направились к скамейке. Самый крупный, Яцек, бросил какую-то колкость. Сильвия замолкла, сжавшись. Лея выпрямилась во весь свой уже почти взрослый рост.

Я не различала слов, но видела, как Яцек намеренно толкнул плечом Абрама, сына портного. Тот уронил очки, растерянно ощупывая землю. Парни громко засмеялись.

И тогда Лея, не раздумывая, резко встала и шагнула между Абрамом и обидчиками.

Яцек что-то прошипел Лее. Я без труда прочла по губам одно страшное, уродливое слово: «Жидовка».

И в тот самый миг, когда это отвратительное слово, повисло в воздухе, меня пронзила память. Запах пыли и конского дерьма, перезвон бубенцов...

Я стояла на ослепительном солнце пустыря, а навстречу мне шла высокая женщина в зелёной юбке. — Не бойся, малая. Мир большой. И люди в нём разные.

Потом Яцек повернулся к Сильвии:

— А ты что с этой еврейкой водишься? Ты что, тоже жидовка?

Он схватил Сильвию за запястье, та дёрнулась, будто её ошпарили, и по её лицу потекли слёзы от унижения и ярости.

Я подумала: мир учил меня, что «другие», это те, кто пахнет дымом костров. А теперь он показывал пальцем и шептал, что «другие», это те, с кем нельзя дружить.

Лея выкрикнула что-то в ответ на идише, обняла Сильвию и увела, бросив на скамейке раскрытый медицинский атлас.

Сильвия до самого вечера не проронила ни слова. Она сидела, забившись в угол дивана, и молча смотрела в стену.

— Мама, — наконец выдохнула она перед сном. — Я целый день учу, как спасти людей. А они... они что, не люди?

У меня сжалось горло. Все мои знания о родах, о кровотечениях, о первой помощи — всё было бессильно перед этим простым вопросом. — Они люди, дочка, — сказала я, глядя её волосы. — Просто... больные. Глупостью и злостью. — А Лея? — спросила Сильвия, поднимая на меня мокрые глаза. — Она же лучшая. Почему её надо бояться?

На это у меня не было ответа. Только гложущая ярость на Яцека, на его отца, на этот внезапно перевернувшийся мир, в котором дружба стала преступлением.

Позже, когда стемнело, я увидела в окно: в жёлтом доме напротив горел свет в кухне. Силуэт Хаима мелькнул за занавеской. Он просто стоял и смотрел в темноту двора, где днём его дочь называли уродливым словом.

А дверь, которую Бронислав сегодня подтянул, скрипнула тише обычного, будто и она научилась бояться.

Глава 22. Уроки ненависти

Новые учебники Сташек принёс домой с гордым видом. Пахнущие свежей типографской краской, он аккуратно положил их на край стола.

За ужином Бронислав мрачно ковырял ложкой в тарелке, Сильвия тихо пересказывала что-то Генрику. И тут Сташек, отпив компота, с решительным видом потянулся к стопке книг.

— А нам сегодня новое на истории рассказывали, — объявил он с важностью, отыскивая закладку. — О врагах народа, хотите, почитаю?

Он не дождался ответа и начал читать. Чётко, с вызовом, срывающимся на высоких нотах юношеского максимализма. В тексте говорилось о «чуждых элементах», «вредителях», «паразитах», отравляющих здоровое тело нации. Слова были абстрактными, но смысл понятен.

Сильвия замерла с поднесённой ко рту ложкой, её глаза стали огромными. Генрик, почувствовав напряжённость и притих.

— Сташек, хватит, — тихо сказала я. — Не за ужином. — Но, мам, это важно! — парировал он, с упоением чувствуя себя причастным к чему-то большому. — Нам велели изучить это с родителями!

Он продолжил, и в тексте уже мелькали откровенно ругательные эпитеты, уже не скрывавшие, о ком именно идёт речь.

Оглушительный стук. Бронислав ударил кулаком по столу и тарелки подпрыгнули.

— Довольно!

Его лицо багровело, а в глазах, слёзы гнева.

— Выброси эту дрянь! Немедленно!

— Это не дрянь! Это правда! В школе сказали! А ты ничего не понимаешь!

Бронислав свирепея резко поднялся. Сташек отпрянул.

— Выбросить! Чтобы я больше не слышал этой мерзости! Они, люди! Понял? Люди!

— А ты забыл, что им на дверь клеят? Это они виноваты! Во всём!

Сташек выкрикнул это. С такой ужасающей лёгкостью.

Я встряла.

— Перестаньте! Мы же семья!

Бронислав обернулся ко мне.

— Заткнись. Ты всегда их защищаешь. Может, и ты за них?

Он ударил кулаком по косяку двери, в сантиметре от моего лица. Дровесина с хрустом поддалась. Он стоял, тяжело дыша, а я смотрела на его окровавленную руку и чувствовала, как трескается и осыпается наша «крепость». Увидела его ладонь, большую и тёплую, которая когда-то, бережно, как реликвию, замуровывала жестяную коробочку с нашими именами в фундамент этого дома. Та рука строила, а эта, крушила.

У меня перехватило дыхание.

И в тот миг, сквозь нарастающий гул в висках, я почувствовала на языке старый, знакомый привкус петушка, липкого, что когда-то обжёт мне губы своим обманом.

«Грех заключается в его послевкусии. Сладкое становится горьким, едва ты его проглотил».

Мама не кричала тогда. Она поставила огрызок в пустой гранёный стакан на полку. — Это мера. Чтобы ты знала, сколько радости в полправды, и сколько от неё остаётся.

Сташек схватил учебники.

— Я вас ненавижу! Вы, отсталые!

Дверь грохнула.

Бронислав упал на стул. Глухо забормотал что-то, глядя в пустоту, потом провёл ладонью по лицу, будто стирая с себя всё, и гнев, и стыд, и сам этот вечер. Его взгляд, дикий и мокрый секунду назад, потух и ушёл куда-то внутрь. Он медленно потянулся к буфету, где с недавних пор стояла недопитая бутылка самогона. Не глядя налил в стакан. Движение было отретипированным, почти ритуальным. Он отпил одним долгим, глухим глотком, и только тогда его плечи чуть обвисли.

Генрик заплакал.

Он смотрел на меня испуганными глазами.

— Мама... Почему папа стал злой? Это из-за книжки?

Я не ответила. Обняла его, прижала к себе, чувствуя, как его слёзы заливают мою шею. А перед глазами всё стоял тот стакан с огрызком леденца. Только теперь в стакане лежал не леденец — а наша разбитая жизнь. И это было не выплюнуть.

Глава 23. Время выбирать

Лето 1939 года входило в Лодзь неслышно, просачивалось в щели домов и в трещины между людьми.

За неделю до нашего разговора Ханка стояла в очереди за хлебом. Впереди две женщины громко обсуждали соседа-еврея, портного Абрама.

— Вышибли его из мастерской, и правильно, — говорила одна. Ханка молчала, сжимая в кармане кошелёк. Она вспомнила, как Абрам когда-то зашил её лучшее платье за кружку молока, потому что у её матери не было денег. Ей стало стыдно и страшно. Она боялась, что кто-то увидит этот стыд на лице, прочитает в её глазах память о той кружке. Она повернулась к женщинам и кивнула: — Правильно. Надо порядок наводить. Произнеся это, она почувствовала облегчение. Страх отступил, уступив место твёрдой уверенности.

Ханка сидела в своей уютной гостиной. За окном был уже новый порядок. И в его жёстких линиях была соблазнительная ясность.

В руках переливался моток шёлковой нити. Она зажала его в ладони, а затем, не глядя, стала медленно и методично проводить большим и указательным пальцами сверху вниз, выравнивая шелковые прядки. Движение было безразличным, как если бы она разглаживала скомканный документ, который больше не имеет силы. Нить казалась ей теперь опасной петлёй, способной затянуться и душить.

В голове выстраивалась новая, чёткая картина мира. Она называла это взрослением.

— Стася не понимает, думала она, ощущая прохладу шёлка. Она всё ещё живёт в том саду, где можно дружить с кем попало, лечить всех подряд. Её сердце, старомодный, щедрый кошелек, который развязывают перед каждым встречным, а мир стал другим. Он требует бережливости и учётности.

Она думала о Лее. Не о девушке с умными глазами и книгой, а о слове, которое теперь за ней стояло, «Еврейка». В новом лексиконе это звучало, как диагноз. Чужеродность.

— И Сильвия с ней водится. Такая способная девочка и такая слепая, как её мать. Кто, если не я, откроет им глаза? Иногда жестокость, это лишь форма заботы. Хирургическая точность.

Она с досадой отложила нить. Эти сентиментальные путы пора было обрезать, детство кончилось. Наступило время выбирать: либо ты цепляешься за призраков, либо делаешь шаг в новый, сильный мир. Мир, где всё расставлено по полочкам. Где есть «мы» и «они» и где «они», причина всех бед.

Её миссия виделась ей спасением. Она должна была «образумить» Стасю, оградить Сильвию, вернуть их в круг «порядочных людей». Да, это будет больно. Но разве хирург щадит ткань, чтобы вырезать опухоль?

Она подошла к окну. За стеклом лежал новый мир, подчинённый железной логике. Мир, который она училась понимать и принимать.

Повернувшись, она снова взглянула на нить, лежавшую на столе, как забытый артефакт из другой жизни.

— Я делаю это для тебя, Стася, мысленно проговорила она, чтобы выжили ты и твои дети. Чтобы вы не утонули, пытаться спасти тонущих.

Решение созрело в холодной и уверенной ясности. Она знала, что должна сделать. И её рука, когда она завтра постучится в дверь к Стасе, не дрогнет.

Глава 24. Август 1939

К концу 30 годов, привычная ткань нашего лодзинского мира начала расползаться по швам. Сначала тонкими, едва заметными нитями, как паутинка мороза на ночном окне. Потом нити превращались в щели. Щели, в трещины. Трещины в зияющие чернотой провалы. И над всем этим висел тихий, навязчивый стук. Словно кто-то незримый методично долбил в фундамент нашего бытия. Все слышали, но никто не смел открыть. В лавке пани Ванды, где прежде звенели монеты, громко торговались за картошку и оглашали стены свежими сплетнями, поселилась новая тишина. Выжидающая. Женщины говорили, приглушив голоса, и прежде чем коснуться «главного», их быстрый взгляд, метался к двери.

— Сахар... опять в цене подрос, вздыхала пани Ванда, завязывая жалкий кулечек с крупицами сладости. Голос ее скрипел, как несмазанная дверь. — Скоро и вовсе не станет. Сметут, пока есть что сметать.

— А мыло? подхватывала пани Ядвига, обернувшись, будто боясь эха. — Муж слышал: на Пётрковской выносят мешками, будто перед концом света. — Всё из-за вестей... вплетался шепот пани Зофы. — За границей, в Германии... Мобилизация. Учения у самой границы...

Я прижимала к груди холщовую сумку и чувствовала, как под ложечкой застывает предчувствие.

Дома тревога пустила корни в стены.

Броник, садился у радио, впитывая сводки. Скулы нервно дергались. Сильвка прижималась ко мне втихомолку, ища защиты от невидимого холода. Сташек горячился в спорах с отцом, прикрывая тот же обжигающий холод паники, что клубился и во мне. Генрик же спрашивал прямо, глазами, полными тоски:

— Правда, мама? Война, это самое страшное?

Но Броник стал моей отдельной, острой тревогой. Днем, студент в белом халате, бегающий по коридорам больницы. Ночью, призрак. Возвращался под утро, пахнущий сыростью подполья и едкой гарью типографской краски. В карманах его потрепанного пальто я находила обрывки газетной бумаги, испещренные дерзкими буквами. Он отмахивался, избегая взгляда:

— Конспекты, мама, для работы.

Правда всплыла, как грязь со дна: он с товарищами печатал листки. Листки, обличавшие новых «патриотов», чьи речи шипели ядом ненависти. Распространял их, как семена правды.

— Если молчать, зло заполнит всё, говорил он тихо, глядя куда-то поверх меня, в будущее, которое видел яснее нас. — Оно уже марширует там, за горизонтом. Шаг за шагом и мы должны быть готовы.

Бронислав вернулся с фабрики расстроенным.

— Левицкого... уволили. За то, что еврей. Двадцать лет у станка...

Голос сорвался, но в его глазах, я читала страшную ясность: трещины под ногами разверзаются в бездны.

Ночью я сидела у окна, держала в руках старый мамин фартук, реликвию, талисман ушедшего покоя. Слышался беззаботный храп Генрика, шелест переворачивающейся Сильвии, приглушенный, напряженный рокот голосов Броника и Сташека за тонкой стеной. Голоса заговора.

Той ночью сон пришел ко мне тяжелым видением: сад, знакомый до каждой травинки, опутан колючей проволокой, ржавой и зловещей. Над ним кружили черные птицы с железными крестами вместо перьев на крыльях. Они закрывали солнце, бросая на землю ледяную тень.

Я проснулась с рассветом, и в груди было безжалостное знание: буря на пороге. И всё, что мы с любовью возводили, дом, семью, покой, придется платить иной ценой.

Но даже в этой сгущающейся тьме теплились огоньки. Люди, которые не опускали глаз, смотрели опасности в лицо, когда удобнее было отвернуться. Подавали руку, рискуя, когда безопаснее было пройти мимо. Я еще не ведала, что скоро выбор встанет и перед нами с Брониславом, пропустить этот стук мимо ушей или открыть дверь, зная, что за ней может быть гибель.

В подвале пахло сырой землёй и было тесно. Генрик молча строил баррикаду из пустых ящиков и старого тряпья. Сташек стоял у двери, прильнув ухом к шершавой древесине. Броник, прислонившись к косяку, вглядывался в щель между ставнями. Никто больше не говорил о кораблях, их детство кончилось. Теперь они рассчитывали не ходы в игре, а толщину стен и шаги на улице.

А пока мы варили похлебку, штопали носки, спорили о пустяках. Где-то в самой глубине, под слоем будней, уже пустило корни странное, неистребимое чувство страха.

Глава 25. Последний урожай

Тот август 1939 года был до неприличия щедрым. Солнце растеклось по небу, вытягивая из земли последние соки. Сад буйствовал как перед концом света, яблони гнулись под тяжестью плодов, такие румяные и безупречные, что рука не поднималась их сорвать. Смородина лопалась от тёмных тугих ягод, а малина, обычно уже отходившая, вторично полезла по забору, алая, как капли крови из открытой раны.

Но настоящей, зловещей роскошью были паутины. Они клубились в углах забора и на яблонях, будто невидимый прядильщик заворачивал в эти саваны весь наш прежний мир. Даже ветер не решался их сорвать, лишь бессильно раскачивал, словно готовые погребальные флаги.

Мы с Брониславом собирали урожай. Вернее, я собирала, а он висел на заборе, глядя куда-то поверх моей головы. От этого предгрозового напряжения трещали виски и медленнее билось сердце.

— Смотри, какая красота, сказала я, протягивая ему идеальное, крапчатое яблоко. — Никогда ещё не было такого урожая. Земля будто торопится отдать всё, что у неё есть, все свои последние богатства.

Бронислав взял яблоко, повертел в своих больших руках.

— Она не отдаёт, тихо поправил он. — Она прощается. Чувствует, что скоро придётся долго молчать. Вот и торопится отдать нам напоследок всю свою щедрость.

Он так и не откусил. Просто положил плод обратно в корзину. Он понял, что от яда мира не спрятаться ни в мастерской, ни на дне бутылки. Оставалось только одно, смотреть гибели в лицо с горькой, трезвой ясностью.

А паутины тем временем становились всё плотнее и многослойнее. Они уже опутывали не только сад, они опутывали само время, сковывали будущее. Мы собирали урожай. Яблоки были тяжелыми и идеальными. А паутины с каждым днём становились всё плотнее.

Часть III. ВОЙНА (1939—1940)

Глава 26. Бумажные стены

Мы сидели за ужином, ели суп, но сегодняшний хлеб крошился в пальцах, как труха. Я смотрела, как крошки падают на скатерть, и не могла оторвать взгляд. Казалось, крошится наш мир, вот так, мелкими, невидными соринками.

Ложка Бронислава опустилась на стол со стуком.

— Завтра, сказал он без всякой интонации, отчеканивая каждое слово, — разберем сарай.

Я не поняла. Мозг отказывался складывать эти слова в смысл.

— Какой сарай? Зачем? — Старый, что с краю. Доски пойдут на щиты. Оконные проемы надо заколачивать.

И тут меня осенило. Разобрать сарай, краеугольный камень нашей «крепости». Постройку, с которой началась его вера в свои силы и наше общее будущее.

Он не вышел из-за стола сразу, его рука потянулась к буфету.

Он выпил начала один стакан, чтобы заглушить шум фабрики и крики детей. Второй, чтобы заглушить шум внутри себя: гул бессильной ярости и стука молотка, который уже не строил, а крушил. А с третьего он просто сидел, уронив тяжёлые руки на стол. Те, что когда-то вязали венцы сруба...

И в этом действии, был звон разбивающейся мечты о большой мастерской, которую когда-то пришлось «отложить». Тогда он похоронил будущее, теперь наступала очередь настоящего.

Бронислав поднялся из-за стола. В дверях кухни замерла Сильвия. Она слышала всё. Рядом притулился Генрик, широко раскрытыми глазами ловя непонятный, исходящий от отца холод.

Мир сузился до четырёх пар глаз, в которых отражалась одна и та же мысль: крепости больше нет. Есть лишь бумажные стены, которые завтра начнем укреплять обломками собственного счастья.

Глава 27. Чужая очередь

Базарная площадь гудела голосами торговцев, я пробиралась сквозь толпу, и привычная дорога к бакалейной лавке вдруг показалась бессмысленной. Ловила взгляды, чтобы угадать: продадут ли мне что-нибудь сегодня?

Прилавки стояли пустые. Исчезли горы картофеля и лука, не видно было яиц. Вместо них, жалкие, осиротевшие кучки: тёмная крупа в мешочках, несколько банок без этикеток. Соль и сахар стали главной валютой. Деньги превратились в простые бумажки. Люди молча протягивали друг другу что-то из-под полы, пачку чая, кусок сала, быстрый и стыдливый обмен.

Я встала в очередь за керосином. Раньше в очередях мы сплетничали, делились новостями, чувствовали себя своими. Теперь это была просто цепь чужих плеч и спин. Соседка, пани Ковальская, с которой мы всегда обсуждали погоду и варенье, увидев меня, лишь нервно кивнула и прижала корзинку к груди. Мы стояли каждый в своей очереди, одинокой и беззащитной.

Сверху, из репродуктора, лился ровный голос, вещавший о «стойкости» и «верности». Слова никто не слушал. Все смотрели себе под ноги, на пустые сумки, на руки продавца, который вот-вот должен был сказать, что всё кончено.

Когда подошла я, керосина уже не было. Продавец безнадежно махнул рукой и отвернулся без объяснений.

Я пошла обратно, пустая сумка болталась на плече, и в этой пустоте было ощущение полной ненужности. Я пришла сюда как хозяйка, как мать, чтобы добыть для дома свет, на чёрный день. На самом деле он уже давно настал и погасил половину лампочек в городе. А ушла ни с чем.

По дороге домой я пыталась вспомнить утренний список: мука, свечи, нитки... Теперь он казался детской наивностью. Мой мир, построенный на простых правилах, посеешь добро, получишь помощь, будешь трудиться, будет хлеб, треснул.

Глава 28. Первый день войны

В первый день войны, город будто замер. Птицы не пели.

Сначала, прокатился отдалённый, нарастающий гул, похожий на рой разъярённых шершней. Потом, сухой, разрывающий небо треск. Стекла в рамах задрожали, запели испуганным, стеклянным голосом. Я инстинктивно пригнулась, прикрывая голову руками, жест, которому меня не учили, он жил в крови, доставшийся от других войн, о которых я только читала.

Глаза Сильвии были огромными, в них плавала та же животная, неосознанная паника.

— Мама?.. — Самолёты, выдохнула я.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.